Как-то диковинно топать пешком
на просторе,
как-то сподручней колесами мерить
маршрут.
Кто же ответит:
откуда фатальность в задоре
путь по земле сокращать до часов
и минут!
В век скоростей малодушны и вздохи
и ропот.
Пусть же с доверьем ко времени разум
живет.
Нет изначальности,
но человек,
а не робот —
слышу и вижу, сличаю и думаю
дни напролет.

Михаил Синельников



Наводнение

Коня на лихом перегоне
Уже не удержишь в узде —
Киргизские красные кони
Спешат по шипящей воде.

И птиц быстрокрылые тени,
Как пенные всплески, бегут.
Идет по пятам наводненье,
И ширится сдавленный гуд.

И слышится дышащий шепот:
— Вода! Я — вода, я — вода.
И движется бронзовый топот.
Отброшенные повода.

И мчащихся клиньев отряды
Забыли хозяев своих.
И всадников смутное стадо
Доверилось разуму их.

И людям желанны просторы,
Но кони уводят туда,
В даление, дальние горы,
Откуда уходит вода...

Рождение музыки

Стрела, висящая в полете,
не слышит пенья тетивы.
И воздух огненный колотит
над тихим посвистом травы.

А за спиной — узоры луга.
И море синее горит.
И лука узкая излука
пастушьи сказки говорит.

И вот, прислушавшись к работе
деревьев, облаков и вод,
струна, звенящая в полете,
о человечестве поет.

И девочка с горячей скрипкой,
тяжелой для ее плеча,
коснулась музыки с улыбкой
иглой смычка, стрелой луча.

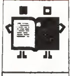
А вечером — стрела в колчане.
И тихо-тихо веют сны...
Ключа скрипичного журчанье,
смычка мгновенное молчанье,
сердцебиение струны.

Лев Коськов



✪

Все гораздо проще стало,
И вечерние снега
Не сравню я, как бывало,
С балеринами Дега.
Среди уличных свечений
Снег вершит свой плавный бег.
Он хорош и без сравнений,
Потому что — просто снег.
Он валит стеною плотной,
На минуту, на века,
Молодой, и беззаботный,
И задумчивый слегка.
На века иль на минуту!
В этой снежной тишине
Почему-то, почему-то
Снова видишься ты мне.
Юной, робкой и влюбленной,
И, как много лет назад,
Рукавичкою зеленой
Машешь мне сквозь снегопад.



ПРОЗА

Раиса
ГРИГОРЬЕВА

ПОВЕСТЬ

ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Глава первая

Иваниха приподняла керосинку, покачала на весу и, убедившись, что внутри плещется еще довольно много керосину, неторопливо поставила обратно на табурет. Давно уже следовало разогревать чайник, готовить завтрак, но она медлила. Последнее время она вообще не торопилась.

В маленькое оконце лился свет яркого дня. Желтый от солнца квадрат на застланном старой клеенкой полу даже на взгляд казался теплым, хоть становись на него босыми ногами, грейся. А в комнате все равно зябко. Сияние за окном — оно обманчивое. У него уже нет сил прогреть исподволь остужающуюся к осени землю. Холод просачивается из подпола в комнату, и отгородиться от него нельзя ни тряпками, какими сама Иваниха позатыкала щели в полу и пазы вокруг крышки подпола, ни клеенкой, которая должна была бы хоть от сырости спасать. Не спасает: от покосившихся бугристых стен тянет отсыревшей штукатуркой и кисловатым запахом влажного обойного клея.

Иваниха постояла, подумала, затем решительно толкнула дверь и вынесла керосинку во дворик.

— Давно бы так-то,— заметила она сама себе вслух, устанавливая свой переносный очаг на плоском камне, не раз именно для этой цели употреблявшемся. Усевшись рядом на пенек, огляделась и опять не смогла удержаться от восклицания: — Благодать-то, господи!

Еще недавно на противоположной стороне улицы, тянувшейся по дну оврага, по берегам грязного ручья со странным названием — речка Кипятка, прямо напротив Иванихиной избушки стояли домики, сараи, сараюшки с громоздящимися на крышах брикетами сена и антеннами телевизоров. Склон оврага, к которому лепилась та сторона, почти не был виден. Теперь же на месте домиков валяется лишь битый кирпич, куски старой жести, рассыпающиеся в труху доски, и ничто больше не загораживает от глаз противоположный склон оврага. Стало видно, что он весь, до самого верха, плотно покрыт курчавым, жестким на вид кустарником ржаво-багрового цвета. Над оврагом поднималось высокое, звонко-синее, без единой белой царапины небо, и от резкой его синевы еще сильнее багровели заросли на склоне. Среди малознакомых Иванихе кустов, из тех, что

Рисунки
М. ЛИСОГОРСКОГО.

сажают обычно в городских скверах, она разглядела привычное: дрожащие осинки, золотые круглые листья невесть как попавшей сюда липовой поросли и желто-зеленые, тоже не сумевшие выбиться выше кустов недоростки-березы.

Овраг этот был вовсе не похож на ее родное село Грушево, равнинное, черноземное село с широкими, размашистыми улицами и крепкими белеными домиками в зелени садов. Но заросший склон вдруг напомнил Иванихе если не само Грушево, то кустарниковые пустоши за селом, когда они вот так же млеют в тихом безветрии бабьего лета.

— Уж скраснели кусты-то, скоро лист опадет,— раздумчиво заметила она, легко и вольно вздыхая и вся отдаваясь тишине, осенним запахам, разлитым в воздухе, приятному теплу. Тихо подступила дрема, веки прикрылись сами собой.

Однако сладкого сна не получилось. Это только на вид Иваниха была покойна и всем довольна. А на самом деле ее в последнее время все томило какое-то внутреннее беспокойство, все пощемливало сердце, а отчего, она не задумывалась. Теперь, едва она закрыла глаза, беспокойство это отделилось от нее и встало у калитки. Встало оно в облике Полинки Карабановой, ее соседки по Грушеву, умершей недавно, уже когда Иваниха жила здесь, у дочерей. К калитке подошла не такая, как была в последние годы, а совсем молодая Полинка. Обратившись к Иванихе, назвала не бабушкой Иванихой, а теть Нюшей, как называли ее давным-давно. На Полинке был подвязан новый фартук, синий в мелкий белый цветочек. Когда-то — Иваниха хорошо это помнит — они вместе с Полинкой перед каким-то праздником, кажется, Первым мая, брали в кооперативе одинакового ситцу на фартуки, вот такого, синего в белый мелкий цветочек. Странно, что Полинка его до сих пор не износила. Стоит у калитки, сложила руки на груди под фартуком, смотрит так жалостливо и покачивает головой.

— Ты что, Полинка,— спрашивает ее Иваниха,— ты что такая печальная?

— Жалко, теть Нюша,— отвечает Полинка.

— Чего жалко-то?

— Тебя жалею, теть Нюша.

— Меня-то? Да за что ж меня жалеть? Чай, у меня все ладно. Сыта, обута, одета, угол свой, ноги, слава богу, носят, чего еще мне надо?

— Плохо тебе, теть Нюша. От еды тебя отвернуло. И от дела всякого — тоже. Смотри-ка, я уж корову давно в стадо выгнала, поросенка накормила, печь истопила, воды наносила, я уж на ферму сбегала, телят напоила, почистила. Домой обедать иду, а ты еще чаю себе согреть не собралась. В комнате у тебя не метено. Платок-то на голове — и не узнаешь, что белый был! А ведь ты как чисто ходила, теть Нюша! Не к добру это!

— Ну ты, давай не причитывай по мне! Плакальщица какая нашлась. Все у меня ладно! — прикрикнула на нее Иваниха, но не очень уверенно, так как чувствовала, что Полинка-то правду говорит.

А та, поглаживая теленка с белой звездочкой на лбу, который когда-то на ферме был в Иванихиной группе — и откуда только взялся здесь тот теленок? — продолжала возражать:

— Где ж ладно-то? А что дочки твои, Клавка с Лариской, и зять Анатолий одну тебя оставили в этой хибаре, это разве ладно?

— Да они без меня никак и не переезжали, ежели хочешь знать! Я сама уперлась. У меня, мол, пенсия, поживу, мол, сама, и все! — совсем рассердилась Иваниха.— А ты давай-ка отсюда, жалельщица, не трави-ка сердце! — Она хотела махнуть на Полинку рукой, но только слабо пошевелила пальцами и от этого проснулась. Никакой Полинки, конечно, во дворе не было. И что за чушь несла эта Полинка, хоть и во сне? Ведь обе дочки вместе с зятем и вправду дважды откладывали переезд, все пытались уговорить мать переехать с ними в новый дом. И теперь зовут к себе, сами к ней наведываются...

Старуха продолжала мысленно, уже наяву, спорить с бывшей соседкой, но чувствовала себя все неувереннее и от этого еще больше сердилась.

— А ты зачем сюда? — перенесла она свое раздражение на Цыгана, поджарого соседского пса, на черной блестящей шерсти которого не было ни одного светлого пятнышка.— Уходи давай! Ну!

Цыган попятился и снова замер, чуть заметно повиливая хвостом и просительно глядя на Иваниху. Она отлично поняла его и ядовито возразила:

— Ишь, какой! Скулил бы пошибче, когда хозяева-то уезжали, они бы тебя, может, с собой... А то, вишь, оставили. Не нужон, значит. Иди, иди, пошел!

Цыган не уходил. Лишь смотрел искательно своими блестящими коричневыми глазами.

— А меня-то, слышь, Цыган, звали с собой. Уж как звали...

Тихонько запел чайник на керосинке. Иваниха привернула фитили. Есть не хотелось. Наверное, и вправду, «отвернуло», как сказала во сне Полинка.

То, что дочери настаивали переезжать в новый дом сразу вместе с ними, было правдой. Иваниха до осени решила еще остаться здесь, на Кипятке. В ее годы трудно и даже боязно менять насиженное место, бросить все, к чему привыкла. Довольно уж и того, что переехала из Грушева сюда. Здесь, на окраине города, в этом овраге, все же что-то напоминает деревню. Вот хоть грядки за домиком. Вовсе не большой клочок, но все-таки земля. Босиком по ней походишь, семечко какое в нее ткнешь, потом смотри, как ростки проклевываются, жди урожая. Перед домиком, посреди улицы, течет речушка Кипятка. Дочери Иванихи, Клавка и Лариска, не велели матери ничего полоскать в этой воде. Говорили, грязная, мол, чуть ли не из бань каких-то течет. Ну, Иваниха и не полощет, хотя грязи особой не заметно, вода только желтоватая. Конечно, Кипятка эта тоже не бог весть какая Волга, а все-таки речка.

Улица в овраге и впрямь была не совсем городской. Но и не то чтобы сельской. Раньше, много лет назад, пустырь с пересекающим его оврагом лежал между холмом, в который упирались окраинные городские улицы, и старинным селом Троицким. С годами город и село Троицкое постепенно сближались. Село выдвинет навстречу Большому Городу крепенький домок, рубленный в лапу, город толкнет в сторону села засыпной домишко: стены — здесь доска, там доска, а посредине черт те что насыпано. Пока еще Городу было не до того, чтобы прихорашивать охвостья своих пригородов. Шло большое промышленное строительство и перестройка того, что, собственно, называлось Городом.

Была, скажем, в Городе улица старенькая, дряхленькая, как траченный молью рукав у хорошей шубы. Раз — отрезали рукав, выбросили старье, не пожалели нового материала. И вот уже атласом широченных окон блестит та самая улица, манит бархатом травки новых газонов, теснит ребрами высотных зданий соседние улицы и площади. И сразу становится видно, что те, хоть и казались еще недавно вполне крепкими и приличными, теперь вовсе никуда не годятся. Приходится и их — под стать новому рукаву. А там и в новом наряде становится тесно

богатырю Большому Городу, уж и новые швы трещат. Приходится снова расширять да перекраивать...

Пока в Большом Городе велось большое строительство, на пустыре шло свое, маленькое. Сначала времянки облепили холм, где кончались городские дома, потом сползли на пустырь, пошли навстречу домикам из села Троицкого. Когда пустырь весь застроился, домики поползли вниз, в овраг, и выстроились двумя рядами по берегам нечистой, но теплой речушки Кипятки. Так и возникла улица со странным названием Кипятка. Низенькие домики, сарайчики, заборчики с калитками, а в конце ее — надо же пить-есть жителям новой улицы — вырос магазинчик, в котором торговали хлебом и бакалеей. Селился на Кипятке разный люд, все больше приезжие из сел и деревень. Некоторые, убедившись, что спрос даже на такое жилье, как здесь, все возрастает, наскоро лепили хибары, подобные пчелиным сотам. Чем больше клетушек, тем больше доход. Другие — их-то и было большинство — селились здесь временно, на скорую руку, лишь бы крыша над головой на два-три года, а там видно будет. Не зря ведь в Городе, который без конца требует рабочих рук, строится столько новых домов. С тем приехали сюда и Лариса с Клавой, когда решили в городе искать своего счастья. Иваниха продала домик в Грушеве, дала дочкам денег на покупку этой вот хибарки, а сама поселилась у соседки-вдовы. Обе продолжали работать на ферме. А года два тому назад Иваниха насовсем покинула Грушево, переехала к дочерям. Дочери очень приглашали, говорили, что она стара, что беспокоятся за нее. К тому же конец овражной жизни приближался все явственней, все больше новых кварталов возникало на бывших окраинах. Все реальнее становилась надежда на хорошую квартиру, и получать ее на четверых было, несомненно, лучше, чем на троих: на Иваниху, если она переедет сюда, полагалась площадь.

Площадь они получили: небольшую трехкомнатную квартиру на девятом этаже нового дома. Да вот самой Иванихе туда ехать не захотелось. Забираться бог знает куда, под самое небо... Нет, уж лучше она еще здесь, по земле, походит. Уцепилась за удобный предлог: урожай с огорода не убран. Но если уж по всей правде, так не одна боязнь перемен удерживала ее от переезда. Дети? Но они не давали повода осуждать их за плохое отношение к матери. Зять грубостей не позволял, и дочки относились к ней вроде обыкновенно, а Иваниха с каждым днем все сильнее обижалась, то ли на дочерей, то ли на свою жизнь, и от этого охватывала ее глубокая тоска. Нет, дочки ее жалели... Давно ли переехали, а уже соскучились. Явилась Лариса, потащила к себе. Но как-то уж так вышло, что и после поездки в новый дом прежнее неясное беспокойство не рассеялось, а еще больше стало угнетать старую.

В тот вечер, когда приехала Лариса, они немало посмеялись. Входя в комнату, дочь стукнулась лбом о притолоку. Всего месяц прошел, как выехала из этого домика, а уже забыла, что, входя, надо нагибаться. И туфли новые запачкала. Речушка Кипятка начала по-осеннему разливаться, подтапливать берега, а Лариска шагает гордо, под ноги не глядит. Вот и вляпалась.

И туфли и ушибленный лоб — это было смешно. Иваниха весело пошучивала над дочкой. А потом перестала. Очень уж неласково уговаривала ее Лариса переезжать в новый дом.

— Хватит дурью-то мучиться,— говорила она, выкладывая свертки с гостинцами.— На грядках у тебя две луковицы да полторы свеклины. Всему три копейки цена в овощном ларьке. А мы из-за этой фоунды сколь денег прокатываем. Да и некогда возжаться с тобой. Давай-ка свертывай барахлишко в узел, я такси приведу и — айда!

На это Иваниха возражала, что вовсе не из-за цены тех луковиц не хочет бросать свои грядки, а трудов жалко. Поживет, пока тепло. Урожай сымет. Беспокоиться о ней вовсе не нужно — сама со своим хозяйством управляется; и еды не надо возить — всего у нее хватает.

— Перед людьми бы хоть нас не срамила,— возвысила голос дочь,— скажут, бросили тебя в овраге этом. А того не знают, что забрать тебя куда бы легче, чем вот так кататься туда-сюда. Одни пересадки, в два конца дорога тридцать копеек.

Иваниха всю свою трудную жизнь зарабатывала немного, транжирить попусту не была приучена. Но сейчас, едва ли не впервые, ее неприятно поразило не только Ларисино покрикивание, но и то, что дочь все возвращалась к мысли о копейках. А та продолжала:

— Собирайся давай, а то не сегодня-завтра как подъедет бульдозер да зацепит с одного боку наш дворец, так враз его вроде и не было.

— С чего это ему зацеплять, сбесился он, что ли? — упрямилась Иваниха.— Чай, в которых домах живут, те не рушат. Вот Ермишины еще не выезжали. Подавай им из четырех комнат квартеру, тогда согласятся. Козихина Шурка все выкозюливается, а ты — вроде я одна на Кипятке осталась.

— У Козихиной интерес — квартирантов терять не хочет. Платют ведь ей квартиранты-то.

— У меня пенсия помене ее, а мне хватает. Вот и поживу маленько на свою,— все больше почему то обижалась Иваниха.

Они бы долго препирались, если бы дочка не пошла на компромисс. Уговорила Иваниху приехать пока в гости: надо же когда-то к новому месту привыкать. Иваниха поехала.

Нет, не права была Лариса, расписывая, что из окон ихнего девятого этажа на небо надо не вверх а вниз смотреть. Посмотришь вниз — увидишь не облака, а все ту же землю, только далеко, голова кружится. А впереди, совсем близко, стоит домина на целых шестнадцать этажей. Гляди, если хочешь, на его окошки, тут вспыхнет свет, тут загаснет. Всю бы ночь и проглядела, если бы не боялась разбудить своих. Младшая дочь Клавдия постелила ей в своей комнате, на раскладушке, пока не определили постоянного места. В третьей комнате — ее величали залой, а Иваниха про себя назвала горницей,— стояли только стол со стульями да кресла с телевизором, там спального места не предвиделось. Когда укладывались, дочка десять раз спросила, не перестала ли мать храпеть во сне. Очень она, Клава, отвыкши от храпа. Вот Иваниха и проворочалась без сна, боялась захрапеть. И днем потом не уснула — не приучена укладываться днем.

Рано утром обе дочки и зять ушли на работу. Иваниха осталась одна. Хотела чаю вскипятить — побоялась зажигать газовую плиту. Дочки объяснили, что газ — он и взорваться может, а как с ним обращаться, Иваниха не запомнила. Даже по полу ходить побаивалась — покрытый лаком паркет зеркально блестит, как ходить по такому? Внезапно в Ларисиной комнате что-то щелкнуло, пискнуло, послышались жесткие царапающие звуки. Иваниха испуганно прислушалась, потом пошла, опасливо поглядывая под ноги, посмотреть, что там. В коридоре споткнулась о диванчик и больно ударила ногу. Что за черт, еще зачем-то диванчик купили и сюда поставили! Правда, на вид-то он аккуратный такой, узенький, и коридор вроде нарочно для него в этом месте расширяется, а все равно незачем было тратиться зря.

Только ноги об него оббиваешь. Спать если кого ложить на нем, то, упаси бог, на самом-то ходу... Так она посидела, поворчала, растирая ушибленную ногу, и побрела дальше, в залу-горницу. В клетке, на подоконнике, суетилась желтенькая птичка. То она трогала тоненькой, тоньше самой махонькой веточки, ножкой с бледным коготком прутья своего проволочного домика, и тогда раздавались эти жесткие, странно звенящие звуки; то клювиком охорашивала перышки на груди; то, вытянув шейку и прикрыв свой черный, круглый, как зернышко, глазок, начинала пощелкивать, пробуя голос.

Она — догадалась Иваниха — хоби канарейка! Иваниха знала, что Анатолий, как только переехал в новую квартиру, завел себе эту птицу, которую почему-то называли то канарейкой, то хоби. Лариса, пошучивая, говорила, что Анатолий собирается через эту хоби миллионером стать — не пьет, не ест, все только с ней и возится. Он мечтает купить кенаря своей канарейке, а как пойдут у них кенарята да как начнет он их продавать, деньги девать некуда будет... В другой раз, уже без шуток, она говорила матери, что дело это неплохое, прибыльное. Птенчики эти желтые и вправду ценятся дорого.

Куда еще богатеть, думала Иваниха. И так денег — черт на печку не вскинет. Кресел вон накупили. Сроду кто из них в креслах сиживал?

Вечером, когда приехала сюда с Ларисой, очень хотелось посмотреть на эту птицу, сулящую богатство ее зятю с дочкой, но клетка была накрыта куском старого одеяла, и попросить, чтоб открыли, Иваниха не посмела. Накрывали клетку, чтобы птица, разбуженная утренним светом, в отсутствие хозяев не запела вольно, как ей самой захочется, а приучалась бы под хозяйским контролем исполнять мотивы, какие наиболее ценятся. Сегодня, с утренними разговорами, закрыть, по-видимому, забыли. Но и то не беда. Она, эта хоби, и несмотря на яркий свет, не особенно распелась. Попрыгала, пощелкала и уселась на жердочке, прикрыв глазки и склонив голову набок. Иваниха постояла, подивилась нежно-желтой окраске птицы — канарейка не просыпалась, и старухе стало скучно стоять возле нее. Отправилась потихонечку обратно в Клавину комнату, да и уселась там, поджав ноги под стул, тоскливо оглядывая пугающую блеском полированных поверхностей новую мебель.

Среди чужих, враждебных вещей взгляд ее вдруг заметил знакомый предмет. На бельевом шкафчике, который Иваниха по-своему называвал комодом, стоял коричневый глиняный барашек с завернутыми в крутые кренделя рожками. Один рожок, впрочем, был уже отбит. В прошлом году, когда Клаве на работе к Восьмому марта подарили эту игрушку, Иваниха ворчала на неизвестных ей умников, додумавшихся дарить этакую бездель. Но потом привыкла к барашку и сейчас обрадовалась, будто на чужбине земляка встретила. Поднялась, взяла в руки, потрогала шершавинку на месте отбитого рога, фартуком осторожно стерла пыль.

Больше делать было нечего. Захотелось уйти отсюда, выйти на волю, походить ногами по земле. Но как уйдешь? Лестницы нет в этом чудном доме, а на лифте спускаться она не умела. Лифт здесь автоматический. Надо какую-то кнопку нажать — сам открывается, тут же сам захлопывается и с грохотом летит вниз. Страшно. Ей стало еще тоскливее, чем было. Хоть с барашком, что ли, поговорить?

— Выбросить тебя пора, так ей, небось, жалко, а приглядеть да вон хоть пыль вытереть, это неохота,— вслух проворчала Иваниха.— Что молчишь?

Барашек в ответ тупо таращил глиняные глаза.

— И меня вот этак же,— ставя игрушку на место, печально усмехнулась Иваниха,— право, этак же...

Когда молодые вернулись с работы, Иваниха попросила проводить ее вниз. Дочки пререкались, кому идти, обеим было некогда. Тогда зять с досадой отошел от хобиной клетки — он не то чистил ее, не то корм насыпал — и поплелся к двери. Сказать ничего не сказал, но старухе и так совестно было, что оторвала человека от важного дела.

Зато внизу Иваниха вздохнула облегченно. Здесь была жизнь естественная и понятная. У дома на новеньких, еще в не вылинявшей краске скамейках сидели женщины — и пожилые, как она, и помоложе. Между только что высаженными и заботливо привязанными к колышкам тоненькими тополиными прутиками бегали дети.

Разговоры на лавочке тоже были понятны Иванихе. Пожилая рыхлая старуха в пестром байковом халате, проворно вязавшая на спицах что-то вроде кофты, рассказывала, что она с семьей переехала в этот дом из подвала.

— Теперь даже представить невозможно, как ютились,— говорила она,— в одной подвальной комнате с самой войны: и я, старуха, и молодые; дочка замужем, сын женатый, а потом и дети ихние. Теперь получили две квартиры, двухкомнатную и трехкомнатную, где я-то живу, в каждой кухни большие, и прихожие, и ванные, и шкафы разные в стенах, а все вроде нелишне, только-только в самый раз. Я сразу уж и привыкла, будто так и надо.

— А что же,— легко вошла в разговор Иваниха,— человек-то, он такой, к черному сухарю долго привыкнуть не может, а к белому-то хлебцу — сразу, будто всю жизнь ел.

Она чувствовала себя так, будто давным-давно соседствует с этой старухой и другими женщинами, сидящими на лавочке. И они также не удивились ее словам, а старуха согласно закивала головой.

С другой стороны рядом с Иванихой сидела молодая женщина, лицо которой будто все состояло из длинного клювастого носа. «Как ворона, право,— подумала про себя Иваниха, искоса разглядывая маленькую головку с гладкими, короткими волосами и недобро смотревшими живыми глазками.— Только что не черная она, а то бы как есть ворона».

«Ворона» держала возле себя целую пирамиду новых кастрюль, составленных одна в другую и перевязанных веревочкой. Видимо, сразу и основательно устраивалась на новой кухне. Но почему-то радости по поводу покупки она не выражала, а монотонно, с недовольством бубнила, что у нее все не как у людей. Если бы из барака, где они жили, выселили их в прошлом году, сынишка сразу пошел бы в ту школу, что вон виднеется напротив, а так он в первый класс ходил в одну школу, а теперь надо переводить в другую. Давай теперь меняй учительницу...

Иваниха, чувств своих скрывать не привыкшая, тут же решительно прокомментировала:

— А как не так? Нам ведь все кругом обязанные. Мы ведь с тобой и в рай попадем, так и там вперед всего свои права начнем справлять: почему, мол, в раю, да не на верхней полочке...

«Ворона» неодобрительно повела носом из стороны в сторону, разглядывая невесть откуда взявшуюся новую соседку, бесцеремонно назвавшую ее на «ты», потом встала и унесла свои кастрюли в дом.

Из раскрытых окон откуда-то с верхнего этажа доносилась музыка. Иваниха сначала было подумала, что включен телевизор или приемник, но звуки были сбивчивые: либо внезапно обрывались, либо без конца повторялось одно и то же коленце: неумелая рука снова и снова трогала одни и те же клавиши.

— Никак на пианине кто-то учится,— заметила Иваниха.

— Внучка моя,— не замедляя работу спиц, обронила старуха.— Прошлый год было одолела совсем с этим пианино. Без нас, слышь, в школу музыкальную записалась — после простых уроков еще туда бегать. И экзамен сдавала. Из ихней школы учительница пения ее на экзамен сама сводила. Все хвалила — очень мол, ты, Верочка, способная. Способная-то способная, а уроки учить где же? В наш подвал оно бы и не влезло, это пианино. Там и койки-то не помещались, на ночь раскладушки ставили. Ну, кое-как зиму отмучились, а нынче, как переехали, сразу на прокат инструмент взяли.— Слово «инструмент» легко слетело с ее языка с той особенной интонацией, какая давала понять, что в их доме пианино не предмет показной роскоши, а и впрямь служит обиходным рабочим инструментом.— Сын собирается свое купить в рассрочку, а пока хоть и на прокатном пусть учится, раз такая охота. Учителя говорят, у нее талант.

— Не стоит покупать. Теперь их никто и не слушает, эти рояли да пианино,— встряла в разговор еще одна соседка.— У всех магнитофоны, чего хочешь, то и прокручивай. А с транзисторами так не то что гулять, иной даже на работу бежит, а на пузе транзистор прицеплен. Девчонка ваша поблажит, потешится да и забросит свою музыку, а денежки — тютю. Попробуй потом его продай. Лучше гарнитур на такие деньги.

— Ну уж, кому чего лучше, всяк сам знает,— обиделась старуха.— У нашей Верочки не блажь, а талант, в консерваторию будет поступать.

Соседке, видно, ссориться не хотелось, она умолкла. Дальше разговор продолжался все вокруг того, как успели устроиться новоселы на новом месте. Иваниха тоже похвасталась, что вот ее зять, такой на все руки парень, успел покрыть лаком паркет во всех трех комнатах и коридоре. Женщины ахали, кто-то позавидовал. Ее стали с интересом расспрашивать, откуда она, какие дети. И тогда она, невесть зачем, без удержу пустилась хвалить своих девок, одну, и другую, и зятя. И какие они ласковые и заботливые, как торопят ее побыстрее переезжать из старого домика, чтоб ей там не было плохо да скучно одной.

Стемнело. Становилось прохладно. Соседки стали подниматься и уходить. Из окон понеслось:

— Костя, домой!

— Милочка, домой!

— Володя-а-а, домой сейчас же! — Звонкие крики перекатывались из конца в конец по огромному двору, отдавались от стен многократным эхом, будто много людей аукалось в горах.

Постепенно все стихло. Старая Иваниха одна осталась на лавочке. Она сидела долго, ожидая, но спуститься за ней, по-видимому, забыли. Тогда она подошла к лифту и стала дожидаться, пока кто-нибудь из жильцов поедет вверх и захватит ее с собой. И было ей почему-то так стыдно просить чужих людей об этой маленькой услуге, будто она просила милостыню.

Открывшая на ее несмелый стук Клавдия не удивилась тому, что мать сама сумела подняться, а лишь сердито упрекнула:

— И чего это стучать, когда кнопка звонка вот она, перед носом?

Лариса издалека, через весь коридор крикнула:

— Попозже не могла прийти? Днем делать все равно нечего, днем бы и гуляла. А то встаем вон как рано, а она вечерком попозже прогуляться надумала. Жди-ка ее!

От обиды у Иванихи перехватило дыхание. Ей захотелось немедленно ответить Ларисе чем-то резким. Но взглянула на нее, да и засмотрелась.

Узкий коридор, в котором, видно, из экономии не включали лампочку, был темен. Лишь в глубине его была открыта дверь, приходившаяся прямо напротив входной, и виднелась ярко освещенная, как сцена в затемненном театре, ванная комната. Там на фоне отбрасывающего теплые блики кафеля стояла Лариса в своей длинной до пят, сильно открытой ночной рубашке и причесывала на ночь волосы. Посвежевшая после купания, с бегущим вдоль лица ручьем влажных русых волос, дочь поражала такой яркой, зрелой красотой, что матери показалось, она видит дивную картину, а прямоугольник двери — той картины рама.

«Дочка-то у меня, Лариска-то...— горделиво думала мать, любуясь.— Этакая королева. В старом домике, в тесноте и показаться-то ей негде было. Как еще ее Толька угадал, раскрасавицу нашу?»

Сама собой улетучилась обида. Будто в этой роскошной квартире красавица дочь только подобным образом и должна разговаривать со старой матерью.

На следующее утро Лариса и Клава перед тем, как уйти на работу, снова стали наперебой объяснять ей, чего не следует делать, а чего вовсе не касаться. Снова выходило, что она просидит день-деньской на табуреточке, никому и ни за чем не нужная, словно тот глиняный барашек на комоде... Иваниха решительно оделась и вместе с детьми вошла в железный безглазый коробок лифта, да и отправилась сюда, на свою Кипятку, в свой старый домик.

Глава вторая

И вот она здесь. Сидит на пеньке возле керосинки, греется на солнце...

Пожалуй, зря рассиживаться-то и ни к чему, укорила себя старуха, с озабоченностью перебирая в уме, сколько дел предстоит ей переделать. Печку надо протопить, а то сырость-то изо всех щелей лезет, по ночам болью в руках замучает. Воды в ведре на донышке осталось, а до чистого ключа идти далеко. Потом и огород посмотреть. Кругом трава уже пожелтела да подсохла, а на свекольной грядке прет мокрец так лихо, хоть ты его каждый день выпалывай! Пожалуй, сиди не сиди, а вставать надо!

Странно, но дела, которые она для себя перечисляла, не пугали ее, а как бы выводили из состояния оцепенения, в котором она находилась. Сиди не сиди, а вставать надо!

Черный пес Цыган все еще вертелся возле, безуспешно стараясь обратить на себя ее внимание.

— Ты еще тут?! — прикрикнула на него Иваниха, с трудом поднимаясь с пенька и направляясь к дому.— Хочешь, чтоб палкой угостила, да? Ну, так и получишь у меня!

Цыган, хоть слов и не умел понимать, но тон, каким они говорятся, понимал очень даже хорошо. Поэтому он разобрал, что Иваниха уже вовсе не так сердита, как раньше, а голос ее стал как будто даже звонче. Обнадеженный, побежал за ней, виляя хвостом, и не ошибся. Старуха вскоре вернулась, неся в руках измятую алюминиевую мисочку со вчерашним супом.

Но что она увидела у своего порога? Рядом с Цыганом и даже норовя оттеснить его и первой заглянуть в сенцы, нетерпеливо переступала тонкими ножками Пальма, рыжая, в грязно-белых пятнах лохматая собачонка, про которую еще так недавно ее хозяин Виктор Васильевич, бывший Иванихин сосед,

с гордостью хвастал, что она никак не простая дворняга, а непременно имеет помесь с ценной породой.

Виктор Васильевич работал шофером в тресте столовых и ресторанов, развозил по столовым и буфетам мясные туши, картонные короба с яйцами, окороками, фруктами, рыбными копченостями, решетчатые ячеистые ящики, где в каждой ячейке томились до поры в булькающих запечатанных бутылках необыкновенные виденья, разные буйные чувства и непредвиденные поступки. После дежурства он частенько бывал в подпитии, и тогда сизо-розовое лицо его с седоватой небритой щетиной дышало добродушием. Он усаживался на лавочку у своего забора и заговаривал с каждым, кто бы ни прошел мимо. Особенно любил расхваливать свою Пальму, которую получил в подарок от какого-то важного человека. Вообще в такие «добрые» дни он не прочь был прихвастнуть удивительными знакомствами. Пальму он брал на руки, гладил, чесал ей за ушами, а то схватит ее ножку и оттягивает, тычет тонкой твердой костяшкой в собеседника.

— Посмотрите,— говаривал он,— на ножки. Вы на ножки-то ее поглядите. Могут быть у дворняги такие аккуратные ножки? А морда, ишь, лисичка настоящая!

Пальма безропотно позволяла демонстрировать себя, потому что знала — вслед за тем хозяин достанет из кармана лакомства, каких никогда не бывает в мисках у соседских собак, и станет ее кормить.

И правда, в карманах у него постоянно бывали припрятаны необыкновенные вещи. Куски розовой ветчины, жирные ломти рыбьих балыков, даже икра красная и черная, комьями намазанная на хлеб, водились в этих карманах для Пальмы. Такой уж изысканный вкус был у собачки шофера из треста столовых и ресторанов. В новую квартиру, куда переезжал Виктор Васильевич, он купил гарнитур полированной мебели и брать с собой свою, хоть и с примесью ценных пород, но все-таки дворняжку побоялся — еще исцарапает Пальма полированное дерево, а за него вон какие деньжищи ухлопаны...

Теперь Пальме не до деликатесов. Ей бы супчику старухиного, да только поскорее, только раньше, чем этому нахалу Цыгану...

Пока Иваниха, удивленно разглядывая Пальму, размышляла, почему эта шустрая собачонка могла догадаться, что здесь сейчас вынесут поесть, из-за угла явился большой, старый пес Зимбер. Прошелся, неслышно ступая своими тяжелыми лапами, сильно двигая широкими лопатками под опавшей от худобы кожей, покрытой бурой с проседью шерстью, и встал поодаль, будто никакого интереса к Иванихе не испытывал. Только его желтый, припыленный старостью глаз неотступно косил за ее руками, державшими миску с супом.

Этого Иваниха снести уже не могла.

— Да вы что,— оскорбилась она,— с потрохами съесть меня хотите? Сколько вас здесь кормить? А ну, вон пошли! Вон отсюда!

В сердцах размахнулась миской, да и швырнула ее вместе с супом за ограду, на дорогу. Вся четвероногая троица бросилась догонять катящуюся с бренчанием мисочку, подлизывая по пути пролившуюся похлебку.

Иваниха остановилась на пороге и задумалась. Тягостное чувство бесприютности, брошенности охватило ее. Снова не хотелось никуда идти, ничего делать. Прислонилась щекой к дверному косяку, закрыла глаза. Вдруг словно теплой ладонью провели по ее лицу, сквозь закрытые веки желто забрезжил яркий свет. Открыв глаза, увидела, как солнечный луч — наведенный огромным зеркалом солнечный зайчик — побежал по земле, по соседским разоренным подворьям, скользнул по кустарнику на противоположном склоне оврага, зажигая яркую росцветь багрового, золотого, алого, и, мгновение помедлив, заскользил обратно тем же путем, снова омыв морщинистое лицо Иванихи волной теплого света.

На пригорке над оврагом, там, куда уже дошли наступающие на жалкий пригород передовые шеренги новых домов, удлиненным, просвечивающим кристаллом высилось институтское здание со сквозными окнами. Каждое окно больше, чем стена Иванихиного или соседнего с ней домика. Кто-то там, наверху, порадовался погожему денечку да и распахнул створку окна во всю ширь, а закрепить на скобу не позаботился. Сплошное, без переплетов, стеклянное полотно силой собственной тяжести и небольшого ветра, дувшего на высоте, заходило на петлях, бездумно гоня перед собой и снова уводя назад подвижный поток сфокусированных солнечных лучей. Только и всего, а Иваниха приободрилась и зашаркала из домика во двор, из двора в домик. За забором послышалось рычание, каким собаки предупреждают врага, что ему лучше не приближаться. Потом злобное гавканье, взвизгивание слились в шуме разгоревшейся собачьей грызни.

— Скалый! — закричала, еще не глядя на улицу, Иваниха.— Прочь, Скалый! — Схватила палку и побежала за калитку.

Собаки и правда грызлись со Скалым, самым злобным псом на Кипятке, всю жизнь проведшим на цепи и лишь теперь, когда уехали хозяева, отпущенным на волю. На единственном столбике, оставшемся от хозяйских ворот, за которыми когда-то бегал по проволоке Скалый, все еще красовалось изображение собачьей морды и надпись «Во дворе злая собака», но двора больше не было, Скалый бегал, где ему вздумается. Потеряв вместе с привычной цепью и привычную ежедневную кормежку, он неожиданной воле не обрадовался, а, кажется, еще сильнее ожесточился на весь белый свет. Оттого, что случайную еду теперь часто приходилось добывать с бою, он все больше зверел.

— Прочь, говорят тебе, Скалый,— кричала старуха, бесстрашно кидаясь с палкой в самую гущу дерущихся собак.

Наконец ей удалось отогнать Скалого. Остальные собаки разбежались. Утомившись, она присела во дворе на свой любимый пень.

На дороге, спускающейся с горки в овраг, показался человек с хозяйственной сумкой в руке. В последнее время дорога эта бывала почти безлюдной, поэтому старуха невольно обратила внимание на идущего. Взглянула — и будто толчок в сердце! Крепко зажмурилась, надеясь, что идущий ей только привиделся, что откроет глаза, а там нет ничего.

Но человек не исчез, а, наоборот, подходил все ближе. Вот он скрылся, только макушку видно — там дорога спускается во впадину на склоне оврага,— вот опять появился несколько ближе. Иваниха подошла к ограде. Она готова была побежать навстречу, а ноги отяжелели, не двигались с места.

«Нет, не может этого быть,— говорила она сама себе.— Нету давно Николая на свете, все село про это знает. Нету, и все!» Но где-то внутри дрожало с надеждой и испугом: «Все знают, что нету, но мертвым-то его никто не видел. А вдруг?!»

Если бы кто сейчас посмотрел на Иваниху, увидел бы невысокую, худенькую старуху в длинной черной юбке и темной кофте, в подвязанном у подбородка плохо простиранном платке, из-под которого выбивались седые волосы. Вцепившись в перекладину ограды так, что побелели узловатые на суставах

пальцы, она вся подалась вперед, седые брови над напряженно глядящими черными глазками страдальчески приподнялись. Сама же Иваниха себя не видела. И не чувствовала сейчас своего седьмого десятка. Стояла здесь Анна, а верней того, Нюша, Ивана Копылова дочь, с волнением всматривалась в идущего к ней мужа Николая. Мужа, которого она боялась, порой ненавидела, но ведь любила, боже мой, как любила! Сильно бьется сердце Анны, румянец прилил к лицу, во рту пересохло от волнения. Ветер шевелит волосы, щекочет лицо. Давно позабытым, легким движением руки она смахивает их со лба и памятью, живущей в пальцах, ощущает ту давнюю, черную и блестящую прядку, которая вечно выбивалась из-под платка, как туго его ни завязывай. Девки, бывало, все приставали, чтоб Нюша научила и их завивать такие же «завлекалочки», парней завлекать. А она никогда и не завивалась, волосы сами скручивались в упругие кольца...

Чем ближе подходил человек, тем яснее она видела, что это не Николай, а совсем чужой мужик. Разом отхлынули силы, Иваниха едва удержалась на ослабевших ногах. Навалилась на оградку, почти повисая на ней, с трудом перевела дыхание. Ветер снова щекотал лицо выпроставшимися из-под платка редкими седыми прядями, но она не убирала их. Что ж это ей примерещилось такое? Ведь сама разменяла седьмой десяток, а Николай был старше ее. Сколько бы ему теперь было? Этот мужичок, ему и сорок-то есть ли, совсем молодой. Таким молодым Николай был еще тогда, когда виделись в последний раз. Сколько лет прошло с тех пор, двадцать пять, тридцать? Но ведь и тогда Николай не похож был на этого. У этого вон голова черная, как головешка, а у Николая волосы были — лен кудрявый. Разве что походка эта бравая в точности Колина.

Человек подходил все ближе, а она продолжала всматриваться в него, да так пристально, что и он замедлил шаг и обратился к ней с приветствием.

— Здравствуй, добрый человек,— ответила старуха, еле шевеля губами от охватившей ее усталости.

— Что, мать, загораешь на солнышке? Самое ваше время, бабье лето,— пошутил прохожий. Он, по-видимому, не торопился, а, увидев Иваниху, даже обрадовался, что есть с кем перебросится шуткой, остановился, достал пачку сигарет, закурил.

— Вы что ж, еще здесь проживаете? А говорили — все повыехали. Озеро вроде здесь будут делать?..

— Озеро-то? Да говорят, что озеро. Не то бассейну сделают,— отвечала Иваниха.

Теперь она видела его близко и все больше удивлялась, как могла так ошибиться. У Коли голова круглая была, скулы двумя кулаками выпирали вперед, щеки от этого немного проваливались, но все равно он был круглолиц. Серые, с желтинкой глаза часто прищуривались то весело, то сердито, а то и с пьяной лихостью. Всякими они бывали: что на душе, то и в глазах. А у этого глаза совсем светлые: будто в темной смуглоте лица проделаны два узких поперечных окошка. Ни солнца, ни тени, ни глубины, только непрозрачные синевато-водянистые сумерки просвечивают сквозь те окошки на длинном, упитанном лице с загорелой лоснящейся кожей.

Разглядывая его, она пыталась понять, кто он и зачем здесь. Впрочем, с гораздо большим удовольствием она бы ушла в дом и легла. Очень устала от недавнего мгновенного напряжения всех чувств. Но чужие люди теперь так редко появлялись на Кипятке, что этот случайный прохожий был как бы ее гостем. Она вежливо поддерживала разговор, обстоятельно отвечала на его вопрос:

— Выехали хоть и не все, ну, многие уже повыехали в новые квартиры. Вон сколько места,— показала она,— здесь ведь все дома стояли. А вы вроде не здешний, что-то не признаю вас? Может, тут кто свой есть или жил кто?

— У меня везде свои,— ответил он неопределенно.— А здесь я так, гуляю. Вроде выходного у меня сегодня, вот и прогуливаюсь. Попить не найдется ли у тебя, мать? Пить что-то захотелось, а у вас тут ни пива, ни соков, понимаешь, не купишь.— И засмеялся своему остроумию.

Иваниха воды вынесла, он выпил, поблагодарил и обратил внимание на собак, которые снова собрались вокруг остатков вылитого Иванихой на дорогу супа и терзали брошенную ею алюминиевую мисочку.

— Ваши? — спросил он.

— Мои? Да вы что? — рассердилась старуха.— Ничьи они теперь, вот чьи! Люди-то нынче, никакого стыда нету, ни совести! Сами поуехали, а животная как знаешь. Провалиться бы им, беспамятным, передохнуть к чертям, и конец,— ругалась она не то на собак, не то на их хозяев.— Взяли повадку бегать по чужим дворам, погибели нет на них!

— Это нехорошо. Санитария этого не разрешает,— сказал прохожий, облизнув и без того яркие губы.

— Где ж разрешать,— подхватила Иваниха,— мыслимо разве!

Обменявшись с Иванихой еще двумя-тремя фразами, прохожий простился. Идти вперед надо было мимо собак, и он, вероятно, опасаясь их, достал из своей хозяйственной сумки что-то съестное и бросил им. Собаки разом проглотили куски и дружно пустились вслед за ним. Он оглянулся. Чтобы умилостивить собак, снова полез рукой в сумку, в которой, по-видимому, было припасено немало еды, и опять бросил съестное на дорогу.

— Да вы не бойтесь,— закричала ему Иваниха.— Они смирные, не тронут! Эй, эй, постойте, вот Скалый стоит, поджидает. Эвон, впереди справа, большой серый пес. С этим поаккуратнее. Поаккуратнее, говорю, с ним, он вовсе одичал!

Тот и Скалому бросил какие-то косточки, порцию побольше, и спокойно пошел себе дальше.

К вечеру в овраге захолодало. Над грязной речушкой Кипяткой стали подниматься космы туманного пара, словно она, оправдывая свое название, и вправду закипала. Космы эти свивались в клубки, разбухали в целые облака и наконец скрыли под собой речушку. Вот уж сам овраг, почти до краев наполнившийся клубящимся туманом, стал похож на реку в разлив. Глубоко на дне этой непрозрачной реки осталась Иванихина избушка. Хозяйка ее, теперь одетая в валенки и овчинную дулейку[1], плотно прикрыв двери в сенцы, куда сквозь щели тоже просачивалась туманная сырость, пыталась растопить печку-каменку. Поначалу это ей плохо удавалось: дымоход забивался туманом, дым швыряло в комнату. Потом пламя все-таки пробилось вверх. Иваниха перевернула табуретку на бок, уселась напротив печной дверцы и, глядя на огонь, задумалась.

«Прогуливаюсь»,— говорил давешний мужик, объясняя свое появление на Кипятке. А какие ему здесь прогулки? И все что-то высматривал. А более всего тревожило Иваниху то, как могла она в этом чужом, еще таком молодом и крепком мужике признать своего покойного мужа, да еще так явственно. Вот и Полинку утром хоть и в дреме, а тоже явственно видела... «Неспроста это все,— думала Иваниха.— Не иначе, к себе они меня зовут, хватит, мол, поробила на этом свете, потоптала землюшку, пора и к нам перебираться».

[1] Дулейка — душегрейка.



Неясное предчувствие надвигающейся беды сжимало ей сердце. «Хотя, если разобраться,— пыталась сама себя урезонить Иваниха,— то какая же в том беда, что зовут? Все хоть к своим попаду. А на этом свете я теперь кому больно нужна-то? Девкам заботы только придаю, умру, так, небось, и рады. Плакать по мне кому? Пожила, и будя...»

Поднялась, с трудом разгибая колени, и зашаркала валенками по клеенке, застилавшей пол, к кровати, под которой стоял большой старый чемодан с проржавевшими никелированными уголками.

На нее пахнуло знакомыми запахами. Овечьей шерстью — вон початый клубок серой пряжи притаился в углу чемодана — и чуть приметным ароматом душистой герани. Засохшие листья герани она любила, бывало, класть в сундук от моли.

Из-под слежавшегося белья, юбок, кофт она достала заветный узелок, свое «смёртное». Развернула. Рубашка ситцевая. Иваниха сама шила ее, по вороту отделывала мелкими складочками. Ни разу не надеванная рубаха. Белый платок в мелкий черный горошек, новые нитяные чулки, несколько метров белой бязи. Старуха задумчиво разглаживала ткань. Пожелтела бязь, слежалась. Эту бы надо выкипятить да на белье пустить, а на смертное покрывало купить новую. В магазинах в городе любой белой ткани сколько хочешь. Можно найти, чтоб понарядней была, побелее. А из этой — наволочки на подушки, а то добавить—и пододеяльник сшить можно. Как раз, если переезжать отсюда в новый дом, и белье бы хорошо вовсе белое. В деревне да и в этом домике на Кипятке наволочки шила обычно красные, цветастые, чтоб не марко было, пододеяльников же и вовсе не заводила. А у Клавки на постели белье белоснежное. На девятом-то этаже ни копоти, ни пыли. И у нее было бы свое, по всей форме, с пододеяльником, и девкам бы не тратиться... Только сначала надо новой материи купить на смертное-то, а потом уж старую можно изводить на белье. Пока замены не купила — все, что в узелке лежит, так и должно храниться нерушимо. Смерть, она ведь телеграмм об себе посылать не будет, грянет нежданно. Надо быть готовой.

Мысли старухи путались, перекидывались от сборов в смертную домовину к предположениям о том, как станет жить в большом новом доме. Ей самой это ничуть не казалось странным. Потому что так уж вышло само собой — жизнь ее была прожита вся. Вся работа переделана, все горе перегоревано, все заботы избыты. И радости, какие были, тоже все отошли назад, как от уплывающей вдаль лодки отходит назад берег. Остается только вода вокруг да вверху небо. По пустой водной глади в ту сторону плыть, в другую ли — не все ли равно? Есть ли еще что на свете, кроме этой воды да неба? Был ли он когда-нибудь, берег?

Берег был. Там, в оставленной далеко позади жизни, было Иванихино Грушево, а в нем ее молодость, подруги, песни в сельском клубе. Нюра была мастерица частушки складывать. Лодырю-выпивохе или складскому ловкачу, путающему колхозный амбар со своим собственным, не дай бог было ей на язык попасться. Выговор, штраф люди в конце концов забывали, а частушки — иную частушку долго распевало все село, да еще и в соседних перенимали. Были колхозные собрания, где она любила смирнехонько сидеть и лузгать семечки, пока подружки не начинали толкать ее под бока: выходи, Нюраха, ты смелая, все выкладывай. И Нюраха выкладывала, действительно никого и ничего не боясь, так, что потом многие мужики чесали в затылках. Портреты ее вывешивали в селе на Доске почета. Начальство, и доярки на ферме, и такие, как она, телятницы уважали ее едва не больше всех за безотказность, за особенное усердие не по долгу, а по любви к телятам, которые были на ее попечении.

Была в том молодом Грушеве Нюрина молодая семья, был муж Николай. Как давно все было, а ведь надо же, не пропало, никуда не делось. Только отодвинулось подальше и осталось дожидаться, пока Иванихе вздумается вспомнить. А вспомнила — и, пожалуйста, как по щучьему велению, вот оно тебе, твое молодое Грушево, твоя изба, девчонки малые на пороге играют. Почти тридцать лет назад сказал Николай: «Чисть, Нюрашка, картоху, сейчас с тобой уху сообразим». И слова эти никуда не делись, не растаяли. Только вспомни, тут же вернется и над самым ухом прозвучит басовитый, с небрежной ласковостью голос, глянут на тебя усмешливые глаза.

Был он, берег, да однажды обрушился вместе с той плотиной на деревенской речке, какую Иваниха тоже никогда не забудет.

А уж после этого и жизнь вроде шла по-прежнему, и детей она растила да вырастила, а что-то оборвалось безвозвратно, что-то надломилось и уже потом не срослось.

В сорок пятом сам воздух победного лета был напоен такой радостью и надеждой, что даже те, кто успел оплакать «похоронку» на мужа, на сына, теперь ждали чуда. Вдруг ошибочным оказалось то страшное извещение, вдруг явится... Анна «похоронки» не получала. И, хоть письма от Николая тоже давно не приходили, она надеялась на возможность близкой встречи. Беспокоилась, ждала. Ждала каждый день, каждый час.

А он все-таки явился неожиданно.

Анна была на ферме, готовила подкормку для телят. И думать она не думала, что в ту самую минуту в дом ее вошел желанный гость. Гость тот топтался возле кровати, смотрел на раскинувшихся во сне детей. Потом грушевские бабы, каждая по-своему, рассказывали ей, как он шел через всю деревню к ней на ферму. Клавку нес на руках, она громко ревела и отталкивалась ручонками от незнакомого ей, заросшего колючей щетиной дядьки. Лариска бежала рядом, все подпрыгивала к сестренкиному лицу и повторяла тонким голоском: «Клавулька, не плачь, Клавулька, это же папка наш, папка!» Казалось тогда Анне, все горести враз миновали, все, что впереди — это только счастье, а каким оно будет, не думалось даже. Конечно, Николай вперед всего крышу на избе переберет, чтобы в дождь не надо было корыта и горшки подставлять под течи, дров наготовит, чтоб не собирать ей по осени хворост в роще да не таскать на себе вязанками; а может, сразу в МТС устроится трактористом или комбайнером — заработки большие у тех мужиков, кто в эмтээсе, почет им какой! А может, и вовсе председателем колхоза его сделают — этакий герой, четыре медали блестят на груди, ровно четыре солнышка, кто бы с ним, таким, сравнялся? Когда отцепляла те медали от гимнастерки, чтоб положить ее в зольный щелок отмокать от пота и грязи, руки тряслись. На медалях выбиты названия городов, о каких в военных сводках по радио говорили: Белград, Вена, а на одной — сам Берлин.

Счастье Анино оказалось коротким. Ни в МТС не пошел Николай, ни к избе рук не приложил. Первые дни с гулянками и похмельем он все рассказывал, будто хвастал перед односельчанами, как живут люди в тех странах, через которые пришлось ему пройти. Выходило, что там все в роскоши купаются, а здесь, в Грушеве, одно убожество да грязь. Пытались его урезонивать такие же, как он, фронтовики, напоминали, что богатое житье по деревням если и встречалось, так только в той Германии проклятой —

известно, как богатство это, дома кирпичные под черепицей да ванны белые, добыто. А возьми Польшу или ту же Югославию — нищета похуже, чем у нас до колхозов. Но Николай слушал и вроде не слышал, всем своим видом показывал, что эти разговоры — они для тех, кто поглупей, а уж он-то знает. Побольше иных.

Стал звать Анну в город: «У меня любая работа из рук не вывалится, а там на каждом заборе объявление: требуются, требуются. Квартиру получим, заживем чисто, как люди». Анна боялась сниматься с места с двумя детьми. Да и не понимала, зачем надо куда-то ехать с узлами да ребятишками, бросать родное гнездо. Дом еще хороший, обиходить его только, так на два века хватит. И колхоз как бросить? Мужиков-то едва треть вернулась из тех, кто ушел на войну. Тут не то что на каждом заборе «требуется» сказано, а куда только глаз глянет, везде руки нужны. А если ей и уехать, то на кого телят оставлять?..

Однажды, вернувшись с фермы, она не застала Николая дома. В сенях одиноко приникла к стене Аннина стеганая фуфайка, шинели рядом не было. Гвоздь, на котором все эти дни висел зеленый вещевой мешок, тоже голо торчал из бревенчатой стены.

Вдовам погибших фронтовиков, и тем, кажется, легче было, чем стало ей. У тех в избах на почетном месте солдатские портреты в рамках. Тех чуть задень, они сразу в крик: «У меня мужик за Родину голову сложил!» Вроде мужики ихние и мертвые за жен заступались. А ее, Анну, Николай сам на виду всего села обидел...

Через два месяца он вернулся. Новый городской пиджак был надет на гимнастерку, ту самую, в которой пришел с фронта. Анна повела ревнивым взглядом: чьи руки хлопотали над одеждой Николая, пока он дома не жил? Нет, ничьи. Тогда у ворота гимнастерки не хватало пуговицы. У Анны форменной не нашлось, все собиралась попросить у кого из подруг. Да не успела. И сейчас ворот доверху не был застегнут. Вот и ладно. Она бросилась к печке, засуетилась. И самой не понять было — то ли непрошеная обида горько першит в горле, то ли радость встречи застилает слезой глаза. А он смотрел на нее такими веселыми, такими шальными глазами, а руки, когда обнял ее, были такими горячими, что Анна вконец потерялась.

— За девчонками сбегаю. С утра пораньше к крестной отвела, стираться думала.— Это была довольно беспомощная попытка сохранить приличествующий порядок, показать ему, что она прежде всего мать и хозяйка.

— Успеешь, сбегаешь еще,— засмеялся он и привлек ее к себе с такой властной лаской, что и приличия и порядок враз исчезли за горячим туманом.

...Счастливо блестя глазами, Анна принялась разжигать огонь под треножником на загнетке, чтобы на скорую руку приготовить еду.

— Чисть, Нюрашка, картоху, сейчас с тобой уху сообразим,— сказал муж.

— Из топора, что ли? — улыбалась Анна.

— Вот из чего.— Он деловито развязал тесемки зеленого вещевого мешка, достал оттуда две округлые железные штуковины.— Ты давай картоху чисть, за рыбкой дело не станет.

— Ладно врать-то! — все еще с улыбкой сказала она, начиная, впрочем, и сердиться: что это, в самом деле, за дурочку он ее принимает?

Но Николай, подхватив в сенях ивовую корзину, положил в нее свои железки и пошел быстрым шагом, почти побежал к реке, в сторону мельницы.

Была когда-то в Грушеве небольшая водяная мельница, а при ней насыпная земляная плотина. Но с тех пор, как грушевцы стали ездить молоть зерно в соседнее село на паровую мельницу, своя пришла в полное запустение. От времени плотина осела, расплюснулась. Полусгнившие шлюзы покрылись ядовито-зеленым водяным мхом. К звону перетекавшей через них воды грушевцы привыкли, как к звуку собственного дыхания. На плотине этой вечно сидел кто-нибудь из ребятишек с удочкой в руках. Ловилась здесь одна мелочь, путающаяся в водорослях у основания плотины, зато подальше, на середине реки, выгуливались крупные сазаны, всплескивали сильными хвостами так, что круги по воде расходились от берега до берега, играла щука, изредка показывая над поверхностью воды круто выгнутый серебристый бок и распаляя рыбацкий азарт. Взрослые мужики иногда ходили серединой реки с бредешком, ставили замысловатые верши, налавливали немало. Но чтобы вот так враз, да на одну только железку...

Анна успела бросить в чугунок с водой лишь три или четыре картофелины, как внезапный грохот потряс стены. Задребезжали стекла. Еще не зная, что произошло, она почувствовала, что грохот этот относится лично к ней, к Николаю, что свершилось что-то ужасное именно в ее судьбе. Выскочила на крыльцо, не успев выпустить из рук ножик. До нее донесся рев воды, какой бывает лишь в ледоход, эхо покатило от берегов глухой гул и треск, странно преображая и приумножая необычные для этого времени года звуки. Не понимая, зачем бежит, Анна бросилась к реке. Туда же спешили из домов, от фермы, от правления колхоза взбудораженные грушевцы, что-то кричали, размахивали руками.

Там, где всегда, сколько помнит себя Анна, реку перегораживала плотина, теперь бурлила темная, почти черная вода, кипели в ней, расплываясь грязной пеной, шматки земли, слежавшегося навоза, всплывали обломки бревен. Вода с ревом уносила все это и сама уходила, убывала на глазах. Вместо плотины, что удерживала высокий уровень воды, плотины, по которой ходили люди, ездили груженые телеги, с которой ребятишки удили рыбу, теперь торчали лишь обнажившиеся, как страшные гнилые зубы, бревна ее основания.

Анна заметалась среди людей, столпившихся на берегу, бросилась вверх по течению, вниз, потом взбежала на бугор. Николая не было нигде, будто его и никогда здесь не бывало. Снова и снова, с непроходящим тягостным недоумением оборачивалась она к месту, где стояла плотина, к реке. Из бурлящих водоворотов выскакивали торчком черные осклизлые обломки бревен, будто это тупомордая подводная нечисть выныривала из глубин, чтобы подразнить ее, и снова исчезала. Боясь от людей услышать то, о чем сама безошибочно догадалась, но во что никак поверить не хотела, Анна ни у кого ни о чем не спрашивала. Но скоро все разъяснилось само собой.

На берегу появились двое мальчишек, один лет десяти, а другой поменьше, которые, по их словам, сами видели, как все сделалось. Упоенные всеобщим вниманием, они снова и снова принимались рассказывать. Ловили они рыбу с плотины, уже успели порядочно натаскать, как вдруг прибежал какой-то дяденька военный с большой корзиной и велел им убираться подальше. Сказал, что сейчас поймает им рыбу с них самих ростом, а пока пусть побыстрее уматывают, а то он их, как котят, пошвыряет. Они испугались и побежали. И сейчас же сзади грохнуло, будто гром об землю ударил...

Ивовую корзину, запутавшуюся в прибрежном кустарнике, нашли тоже ребятишки, стали всем показывать. Анна корзину узнала.

По начавшей успокаиваться воде плыла оглушенная рыба. И огромные сомы, что раньше паслись на илистом дне, и жирные сазаны, и караси, и щуки, которые за теми карасями охотились, теперь безжизненно колыхались на волне белыми брюхами кверху. Вся река от берега до берега была исчеркана этими мертвыми белыми полосками, меж которых мелким белым пунктиром и вовсе точками обозначалась всплывшая речная мелочь.

Собирало рыбу все село. Все, кто оказался в этот момент дома и кто мог ходить, выбежали на берег с ведрами, корзинами, а кто и с мешками. Шуток и смеха, которых много было бы в подобных обстоятельствах в другое время, сейчас не слышалось. Неожиданная прибыль не принесла радости. Люди выглядели скорее подавленными катастрофой, ошеломленными. И собирали-то внезапный «улов» только потому, что не пропадать же добру.

...После в вещевом мешке Николая нашлись еще две круглые железные штуковины, точно такие, какими муж ее обещал рыбы на уху наловить. Анна показала их Полинкиному мужу, трактористу, только недавно сменившему на трактор свой танк Т-34. Тот посмотрел и присвистнул горестно:

— Такими рейхстаг, понимаешь, рвать, а он на уху. Силен, вояка! — И выругался.

...Никто больше не видел Николая ни живым, ни мертвым. И разговаривать о нем Анна не любила. Осуждений слышать не хотелось, а по-доброму его никто не вспоминал. Никто, кроме самой Анны. Она-то часто вспоминала все, что меж ними было. И радости, и обиды, и тот последний шальной приезд, то последнее, обжигающее свидание, которое закончилось так внезапно и страшно. Но со временем она думала о муже все реже. В последние годы даже черты лица стали забываться. Помнила руки, какие они были сильные и какими умели быть невесомыми. Этого она никогда не забывала. Еще помнила отдельно глаза, отдельно — губы, или усмешка всплывет в памяти, а чтоб все лицо разом видеть — давно не бывало, особенно с тех пор, как переехала из Грушева сюда, на Кипятку. А сегодня надо же было так обознаться, так явственно увидать! К чему бы это все-таки? Может, и впрямь не зря явились к ней и Николай и Полинка? «Нет, не зря! — утверждалась в своей догадке Иваниха.— Видно, и впрямь пора собираться к ним»,— уже засыпая, думала она, и тягучая тоска томила ее сердце.

Глава третья

Дорога, уж какой бы ни была она безлюдной, уж какой бы ни казалась покинутой и заброшенной, а пока не совсем заросла или не вовсе разрыта, все бежит, ведет кого-то за собой, все таит возможность нежданных добрых встреч. На следующий день, когда солнце высушило туман и хорошо прогрело землю, Иваниха вновь увидела спускающихся по дороге в овраг незнакомых людей. Теперь их было двое, двое молодых парней. Что молодые — видно издалека, потому что, во-первых, тонки, как молодые саженцы в саду, и идут както слишком весело, руками размахивают, говорят чего-то, а то заозоруют: один от другого увертывается, а потом сам догонять принимается. Оба длинноногие, у обоих цветастые рубахи не заправлены в брюки, а поверх мотаются. Один стрижен под девчонку, у другого волосы и того больше — до самых плеч.

«Ну и мода нынче, сплошь одни дьячки»,— неодобрительно подумала старуха, наблюдавшая, однако, с интересом за идущими по дороге. Когда же один из них обнял другого за плечи да вроде даже и поцеловал в щеку, она вовсе рассердилась и сплюнула. Но в дом не ушла: все-таки любопытно, каких еще чударей носит на себе земля. Те двое спустились в овраг, пошли вдоль Кипятки прямехонько к Иванихиной избушке. Старуха к этому времени на всякий случай вошла в сени и наблюдала оттуда — ребята постояли возле калитки, то рассматривая номерной знак на ней, то оглядываясь на развалины дома, что раньше стоял напротив Иванихиного. Разговаривали громко, вроде даже перебранка у них или какое-то недовольство. Один голос тонкий, совсем девичий, вот-вот заплачет. Иваниха вышла из домика им навстречу. Вблизи оказалось, что это парень и девушка.

У девчонки лицо такое нежное, беленькое. Конопушки проглядывают, но немного их, с ними вроде даже еще лучше. Худовата только и зубки немного вперед, а так ничего, оценивала про себя Иваниха. Носик востренький, сама смотрит, как ребенок обиженный, не по ее что-то. Зачем только она эти штаны анафемские надела, что за люди пошли, без всякого понятия. И волосешки свои хоть бы прибрала. Мотаются русые по плечам, вроде сейчас ото сна вскочила. Нехорошо...

Ее черноглазый товарищ был поплотнее. Крупный, немного мясистый нос, большой рот, подбородок с канавкой. Молод еще, подумала, взглянув на него, Иваниха. Только и этот тоже — волосы, как у девки, на шею падают, ну к чему? Прямые волосы-то, густые да жесткие. Крепкий мужик будет.

Так она рассматривала их, делала им свои определения, а они с нетерпением ждали, пока она приблизится. Девушка выжидающе взглядывала то на нее, то на своего спутника, наверное, считала, что он должен начать разговор, но как только Иваниха подошла на расстояние, с которого прилично было заговорить, быстро и нервно спросила:

— Здравствуйте, бабушка, Жигаловы здесь живут?

— Здравствуйте, здравствуйте,— протянула Иваниха,— они здесь и не жили. А сейчас выехали.

— Как, «не жили и выехали»?

— Ну, жили не здесь, а звон где, напротив. Сейчас квартиру получили, так чего им здесь сидеть? Выехали, говорю. Вот на этом месте домок стоял. А вам они зачем?

Девушка смотрела на Иваниху, словно не понимая, о чем та говорит, и вопросительно повернулась к своему спутнику.

— Я ведь объяснял тебе. Выехали, и все,— сказал парень так спокойно и ласково, точно говорил с ребенком. И ничего не прибавили его слова к тому, что сказала Иваниха, а девушка успокоилась.

Иванихе понравилось, как говорил этот парень со своей девчонкой, как доверчиво и хорошо она его послушала. Ей захотелось подольше поглядеть на них, и она зазвала их к себе во дворик посидеть на скамеечке возле крыльца, отдохнуть, а заодно и поговорить.

Оказалось, они прочли приклеенное на каком-то столбе объявление о том, что гр. Жигалова, живущая на улице Кипятка, дом 5, сдает комнату на любой срок. Вот и пришли. А дома 5 и нету...

— Так она все года, бывало, пускала жильцов,— объяснила Иваниха.— Помногу у нее живали. А потом не стали приходить. Теперь домов, квартир столько понастроили, кому, небось, понравится в этакую нору забираться. А ей, Жигалихе-то, без даровых денег скучно. Вот она и давай клеить объявления, где ни попадя, авось кто клюнет. А тут



счастье подошло: сами квартиру получили. Домик Жигаловых снесли, а оно, объявление-то, знать, все висело да висело. Ну, приходить все равно никто не шел, вы первые.

Девушка почувствовала в этих словах как бы осуждение себе и торопливо стала рассказывать, что они с Юрой студенты, неделю назад поженились, а жить продолжают в общежитиях: он — в своем, она — в своем. Дорогую комнату снять не на что — вот и обрадовались, когда в объявлении увидели этот адрес. Поняли, что здесь дорого платить не надо. А что помещение без удобств, их нисколько не смутило. Даже забавно — деревенская избушка. Экзотика... Правда, Юра?

Пока они так сидели и разговаривали, послышался чей-то свист. Потом мальчишеский голос нетерпеливо стал выкрикивать: «Цыган, Цыган, ко мне, где ты, Цыганчик?» И опять тонкий призывный свист.

«Генка Жигалов!» — узнала Иваниха. С тех пор, как в последний раз махнул ей рукой с вершины груженного домашним скарбом грузовика, он часто возвращался сюда, но Иваниха не обращала на него внимания. А теперь не могла отвести глаз. Зачем его принесло? Вдруг он каким-то образом уведет этих ребят, которые ведь не ее искали, а их, Жигаловых,— и ребята запросто могут уйти с ним. Куда уйти — она не подумала, но беспокойство все больше овладевало ее душой.

В самом деле, зачем им тут оставаться? Кто они ей? Совсем чужие ребята, да еще эти штаны на девке да волосы распущенные. Во всем чужие и непонятные. И уйдут сейчас, обязательно. Пришли не к ней. Она комнат не сдает, нету у нее таких хором. Чего же им здесь больше-то делать?

— А вы бы это... у меня бы оставались, — неожиданно для себя проговорила она. И, не переставая внутренне удивляться себе, продолжала: — Я с вас нисколько не возьму. За что брать-то? Пожили бы, вам хорошо и мне веселее... Можно бы хоть и всю зиму, дров хватит, да долго-то все равно домик не простоит, на снос он назначен. К весне, как все снесут, в овраг этот воды напустят, бассейну делать. Ну, пока не говорят ничего, я живу себе тут и вы бы со мной. А за то время настоящее место себе подыскали бы. Право слово...

Видя, что ребята заколебались, она позвала их за собой. Оказывается, из сенец, таких крошечных, что двоим рядом стоять тесно, можно было попасть не только в комнатку, где теперь жила Иваниха, а раньше — Лариса с Анатолием, но и еще в одну, поменьше первой. В ней до отъезда дочерей ютилась она сама вместе с Клавдией. Сейчас в этой каморочке было пусто, ничем не прикрытый пол зиял щелями, запыленное оконце пропускало мало света. Но было тепло и сравнительно сухо: печка, которую топила Иваниха, одной стеной выходила сюда, и для такого маленького помещения этого было достаточно.

Если промыть оконце, поставить топчан да соорудить из досок столик для занятий... А главное, она была совсем отдельной, эта каморка, можно было закрыть дверь и остаться только вдвоем! У Юры, кажется, исчезли все сомнения, Иваниха это заметила.

— Ты как, Тань?

— А ты?

— Я ничего. Можно и так. — Теперь Юра открыто улыбался своим большим ртом, показывая крупные белые зубы.— Какая разница, дом пять или дом шесть! В шестом зато бабушка хорошая. Верно, бабушка? А что касается нас, то вы не подумайте, у нас и документы с собой.— Достал из бумажника паспорт с вложенным туда брачным свидетельством и протянул Иванихе.

— Забери, забери бумажки. Ваши документы по глазам видны. А бумажки эти нынче не шибко сильны. Сегодня сошелся, завтра разошелся — вся комедия. Который в глазах документ — тот вернее.

Желая наиболее полно представить новым знакомцам место, которое предлагала им для жилья, Иваниха повела их к чистому ключу, откуда жители Кипятки брали питьевую воду. Только вышли за калитку, на глаза попался соседский Гена. Теперь она его уже не боялась, сама показала на него ребятам.

— Вот он как раз и есть Жигалов. Иди-ка сюда, Генаш. Ты что пришел сюда?

Гена молчал.

— Не нравится, что ль, на новом-то месте? Квартира-то хороша ли, сколько комнат?

— Три.

— Три? Так чем же она не нравится?

— Чем, чем... А ничем! Хорошая. И ванная есть. Вода бежит, какая хочешь. Хочешь — холодная, хочешь — горячая, а хочешь — теплая. И балкон есть! А с балкона школу нашу видно, прямо окошки нашего класса!

— Во, как хорошо! А сюда ты зачем? Забыл чего-нибудь?

— Так, ни за чем.

— Как это «ни за чем»? Небось, не ближний свет ехал. Мать послала?

Генка глядел в землю, будто провинился. Его оттопыренные уши и, кажется, даже кожа на макушке, просвечивающая сквозь мягкую светлую щетинку, густо порозовели.

— Ну, что не отвечаешь-то? Соскучился, небось, по родному месту? Так и сказал бы. Не зря ведь говорится, где родился, там и годился.

— В каком классе учишься, мальчик? — строго спросила Таня, обратившая внимание на косо болтавшийся за спиной мальчишки ранец.

— В третьем, в каком! — недовольно пробурчал Генка и, чтоб поскорее избавиться от нежелательных вопросов, обратился к псу, который вертелся вокруг него, терся худыми боками о Генкины форменные брюки и всячески обращал на себя его внимание.

— Цыганчик, ах ты, Цыгашечка, ах ты, хвостовиляюшкин,— заворковал Генка, всем своим видом показывая полное равнодушие и к самой Иванихе и к ее гостям.

— Что же с собой не взял его, когда уезжали? Ишь, соскучился как,— не отставала старуха.

— Мамка не велела.

— А ты что же не в школе? — с настырной настойчивостью продолжала Таня.— Уроки еще ведь не кончились?

На этот, по-видимому, самый опасный для него вопрос Генка менее всего готов был отвечать правду.

— Мы во вторую смену,— быстро соврал он и, спасаясь бегством, помчался вдоль Кипятки наперегонки со счастливо взлаивающим Цыганом.

— Пристала, тоже, к человеку,— потянул жену Юра,— ох, и нудной учителкой будешь ты, Танька!

— Не нудной, а принципиальной! — Таня тряхнула головой, ее длинные волосы, завесой падавшие вдоль лица, рассыпались на отдельные пряди, она сердито заложила их за уши, и от этого лицо сразу сделалось старше и суше.— Тебе хорошо с формулами возиться. «Антисигма минус гиперон», и все дела! Сюрпризов-то сигма эта никаких не выкинет!

— Ого, еще какие сюрпризы!

— Ну, хоть уроки не прогуляет... А я должна буду за каждого ученика отвечать. Вот он, деятель, полюбуйся,— с улыбкой, вмиг сделавшей ее подвижное лицо смешливым и очень юным, показала на Генку, который, забравшись на остатки печной трубы, размахивал высоко поднятой рукой с зажатым в ней маковым бубликом, будто дирижировал, а перед ним, послушно кидаясь за бубликом то вверх, то в стороны, показывал свое искусство и преданность Цыган

— Молодец,— продолжал поддразнивать жену Юра.— А вообще-то нормальный мальчишка. Наскучался по своей собаке — вот и прибежал. Все тут и преступление. А ты уж обязательно — отвечать!

— Не возникай, Юрка, схлопочешь!

— Вот так и живем, бабушка Ивановна. Зря я с ней связался, да?

— Кто ж вас знает,— хитро заблестела своими черными глазками Иваниха, с удовольствием подхватывая игру,— может быть и правда зря. Ну, без строгости тоже нашей сестре нельзя, вас только распусти, наплачешься.

Довольная собой, а еще больше этими, невесть откуда взявшимися ребятами, Иваниха вовсе приободрилась. Они пошли сначала по дороге, потом свернули в сторону, прошли немного по тропинке и очутились в самом конце оврага. Дальше идти было некуда. Они стояли перед почти отвесным склоном горы, тоже поросшей ржаво-багровым кустарником, издали низеньким, вблизи оказавшимся почти в рост человека.

И самого подножия горы пышная щетка высокой, теперь уже засохшей травы; от нее расползается небольшое болотце, прорезанное светлой, туго скрученной водяной ниточкой. Опускаясь ниже, ниточка расправляется, делается заметнее и уже ручейком стекает в Кипятку. Рядом с болотцем и даже по нему протоптано много следов, но ни сруба, каким обычно окружают источники, ни водопроводной колонки, ничего такого, что указывало бы на место, где берут воду, здесь не было.

Таня, полагая, что они еще не дошли до цели, воспользовалась остановкой, чтобы отцепить насевшие на свои и Юрины брюки шарики репьев. Все в этом овраге: и кучи гнилушек на месте разрушенных домиков, и грязная дорога, и репьи,— все, что не было их с Юрой будущей л и ч н о й комнаткой, вызывало у нее трудно скрываемое неудовольствие. Она уже готова была повернуть обратно и сказать, что решительно не хочет здесь оставаться, но Юра осматривал новое для них место с добродушным и даже каким-то азартным любопытством, которое Таня так любила в своем муже. Ей не захотелось его огорчать.

Иваниха, видя, что ребята не понимают еще, куда пришли, принялась не то ругать какое-то домоуправленческое начальство, не то оправдываться за неустроенность своей жизни:

— Да вот раньше-то у нас были колонки водопроводные, а трубы-то, видать, проржавели, что ли. На скорую руку было делано. Заменять не стали: улицу, мол, Кипятку, все равно снесут, зачем, мол, средствия тратить. Потом, ладно, хоть чистый ключ в трубу обделали. Хорошо так стало. Теперь и эта труба отломилась. Починить бы — так опять бы надолго хватило. Ну, кому недосуг, а кому и дела нет...— Она шагнула через болотце, и ребята оба разом вдруг различили у начала травяной заросли косо торчащую из самого подножия горы ржавую железную трубу, разломанную так, что крепкое основание оказалось совсем коротким, вроде низко срезанного пенька, а отломанный кусок, который еще даже не совсем отвалился и болтался, ожидая лишь хорошего толчка, чтобы упасть, давал представление о том, что еще недавно это место было приспособлено для службы людям, а теперь пришло в полное запустение.

Однако, по-видимому, служить оно все-таки продолжало: из основания трубы вытекала вода. Это от нее бежал тот нитеподобный, туго скрученный светлый ручеек по болотцу. А старуха для того и несла с собой кружку, что ничего иного под низкий обломок трубы подставить было нельзя, чтоб достать воды.

— Это и есть «чистый ключ»? — разочарованно спросила Таня.— И воды больше негде взять?

Иваниха виновато кивнула головой.

— Сносят ведь нас, чинить-то не для кого. А вода — раз попьешь, не забудешь. Как стали переезжать отсюда наши кипятские, так первое время, глядишь, вертается то один, то другой с бидончиком, за водой этой. В холодильнике сохраняли, для чая, другую и пить не хотели. Теперь, наверное, уж отвыкать стали. А что вида нет у ключика, так это верно, нету вида...

«Что поделаешь,— читалось на ее лице,— уж так, как есть... Не нравится — навязываться не станем».

Юра с укором посмотрел на Таню, призывая ее вести себя спокойнее, не обижать старуху. Он взял из рук Иванихи кружку и пошел к трубе с ведром, чтоб кружкой налить в него воды. Что-то в разоренном этом источнике поразило его, когда он подошел поближе. Удивленно прислушался и, улыбаясь, стал энергично махать рукой Тане, подзывая к себе.

Из сломанной трубы не просто текла вода. Прозрачная, с зеркальными отблесками, как чистый хрусталь, струя упругими, пульсирующими толчками выходила из глубины, будто там, в недрах горы, неустанно билось, выталкивая ее кверху, могучее сердце. Струя вырывалась на волю с чуть слышным клекотом, с младенческим гульканьем, стеклянным перезвоном. Теперь оба, Юра и Таня вместе, радостно дивились этому чуду, мимо которого сейчас могли с пренебрежением пройти, так никогда и не узнав, что оно есть на свете. Юра, вспомнивший, наконец, о кружке, что держал в руках, подставил ее под струю. Руку, не ожидавшую столь сильного напора, чуть повело назад.

— Попробуешь? — протянул он Тане кружку.

— Ой, холодная, зубы ломит,— засмеялась Таня.— А вкусная! Ты попей, Юрка, такой вкусной еще не пил!

Повеселевшая Иваниха, Юра с ведром, полным воды, и Таня, шутливо-торжественно несущая перед собой до краев наполненную кружку, двинулись в обратный путь. По оврагу вдруг полоснул высокий, срывающийся крик. Кричал мальчишка. Голос то требовал и возмущался, то умолял, захлебываясь слезами:

— Отда-ай! Отдай, дяденька-а! Отда-а-ай!

Таня, размахивая кружкой, из которой выплеснулась вода, понеслась вперед, длинные волосы хлопали ее по плечам. Юра сначала бежал с ведром в руке, потом, поставив его сбоку от тропинки, помчался, перегоняя Таню. А мальчишка не переставал кричать, к воплям его примешивалось урчание мотора и собачий лай.

На дороге, недалеко от Иванихиной избушки, стояла машина, небольшой грузовичок с краном, наподобие тех, какие забирают и увозят мусорные баки. В кузове — несколько будочек-контейнеров.

Одна такая будочка, снятая с машины, стояла чуть в стороне от дороги. Когда Таня с Юрой подбежали, грузовичок как раз был в работе: сидевший в кабине шофер нажал какой-то рычаг, кран поднялся,

опустился туда, где стояла будочка, зацепил скобу на ее крышке и поднял контейнер в воздух. Невидимая собака зашлась в отчаянном лае. Генка — его портфель с книжками был уже где-то брошен, школьный форменный пиджачок, измятый и выпачканный, расстегнут,— подпрыгнул вверх, вслед за будкой, пытаясь схватиться за нее и задержать ее движение, потом метнулся к машине.

— Дяденька!— Грязные Генкины кулаки забарабанили по дверце кабины.

— Ты что? — еще издали закричала Таня.— Что случилось?

— Тетенька! Дяденька! — Генка обернул к своим недавним знакомым искаженное волнением лицо.— О... Он... Цыгана... дяденька! Цыгана! — Увидев приближающуюся Иваниху, мальчишка спрыгнул с подножки и с громким ревом бросился к ней.

Юра окинул взглядом все разом: плачущего Генку, невозмутимо восседающего в кабине смуглого человека, контейнер, нависший над кузовом и так сильно раскачивающийся, что сразу видно: там внутри живое существо, оно движется и протестует. Не понять, что здесь случилось, было нельзя. Юра решительно рванул на себя дверцу кабины:

— Гражданин, отпустите собаку!

Человек сидит в высокой кабине, под руками у него руль машины и рычаг подъемника. Глаза, такие светлые, будто в темной смуглоте лица проделаны два узких поперечных окошка, сквозь которые просвечивают синевато-водянистые сумерки,— его глаза вовсе не замечают никого вокруг, а глядят прямо перед собой: вот он, руль, вот рычаг — поднимать контейнер! И неважно, что против него четверо, а он один, что тем четверым необходимо во что бы то ни стало остановить его, страстно необходимо, а у него самого вроде и страсти никакой. Ровным, чуть презрительным голосом — понимает же свое преимущество — читает наизусть параграф из постановления городского Совета о борьбе с бродячими животными. Он действует от имени закона.

— Да нет же, как вы не понимаете?— горячится Таня.— Закон писан для людей, для защиты их здоровья и покоя! В нем ведь говорится только о бродячих собаках, понимаете, о бродячих! Цыган не бродячий, слышите вы или нет? У него хозяин. Послушайте, вы отнимаете у мальчишки друга, грабите его душу. Ни один наш закон такого не предписывает! — Таня стоит перед носом грузовичка, тоненькая, лицо от волнения обтянулось, стало некрасивым, ощерились крупноватые зубы — перед самой кабиной стоит, тронься, попробуй, она не сдвинется с места.— Отпустите собаку, вы не имеете права!

— Отойди, Таня, уйди сейчас же! Этому прохвосту ничего не стоит проехать по тебе! — Это Юра кричит и дергает Таню за руку.

Тот, в кабине, на Генку, Таню, даже на Юру и его брань не обращает внимания. Вот к Иванихе он, пожалуй, склонен прислушаться. Иваниха не зря разменяла седьмой десяток, уж она-то знает, что иные крепости легче бывает взять обходным маневром, чем лобовой атакой. Потому она повторяет с этакой дружеской распевностью:

— Ладно тебе постановления читать. Мы это не понимаем. Ты бы лучше вышел, по-человечески поговорил. Может, и договорились бы. По-человечески-то договориться всегда ведь можно, да? — И заискивающе смотрит в водянисто-сумеречные окошки глаз.— Ты нас уважишь, мы тебя уважим, да?

Оказывается, есть вещи, против которых не могут устоять даже каменные сердца. Многообещающие иванихины «да?» пробили некую брешь в сердце водителя. Будку-контейнер с заключенным в ней Цыганом он, правда, с кузова не снял и мотор не выключил, так что тот продолжал урчать потихоньку, готовый сразу рвануть вперед, но сам-то водитель будто бы нехотя, будто бы просто так, только чтобы размяться, все-таки снизошел из кабины на землю поближе к Иванихе.

Иваниха же, как только увидела его рядом с собой, не отделенного больше высоким стеклом кабины, так сразу перестала заискивать. Теперь она обличала. Не могла простить обмана человеку, который только вчера так ласково разговаривал с ней. Пить ему выносила! Своими руками! И собакам, тому же Цыгану куски он бросал!

— Приманивал, подлая твоя душа, шпиёнил, где легчей безо всякого права в живодерню утащить животную, да? — наступала Иваниха, и ее «да?» теперь звучало угрожающе.

Правильнее всего ему было бы после этого немедленно вернуться назад, в свою кабину, но он был задет.

— «Животную»,— передразнил он Иваниху, перекашивая смуглое, лоснящееся лицо,— «животную»... А кто этих же собак проклинал, что они житья не дают да подохнуть бы им, кто? Не ты ли? Сами жалуются, потом верещат.

— Кто проклинал? Я?! — искренне возмутилась Иваниха, начисто забывшая вчерашние разговоры.— Я? Чтобы подохли? Ах ты, чертов гицель [1], да как же ты смеешь?!

— Никакой я тебе не гицель, я Иван Тимофеевич Кузенков, я на работе нахожусь, при исполнении...

Разговор затягивался и становился все громче. Тем временем Юра и Генка молча переглянулись, как бы сговорились о чем-то без слов. Генка прошмыгнул за грузовичок, с той стороны по колесу взвился в кузов и, прежде чем Иван Тимофеевич Кузенков успел заметить, открыл дверцу капкана-контейнера. Освобожденный Цыган пулей выскочил оттуда и с отрывистым звонким лаем, выражавшим все волнение, какое он успел пережить, помчался вверх по склону оврага. Следом устремился и Генка, то и дело оглядываясь на Юру, как бы спрашивая: «Все ли правильно сделано, не догонит ли меня этот человек?»

Юра в ответ махал рукой: молодец, мол, все в порядке.

Откровенно ликовала Таня. Разъяренный гицель, сплюнув, бросился к грузовику, рывками стал дергать ручку, пытаясь включить заглохший к тому времени мотор, но тот только натужно ревел, выбрасывая из выхлопной трубы зловонные клубы дыма. Наконец, чихнув еще раз, ровно зарокотал.

— Приеду с милицией, тогда узнаете. За это срок дают, понимаешь!— с угрозой крикнул Кузенков, придерживая рукой распахнутую дверцу кабины.— Сопротивление властям при исполнении, статья есть такая! С милицией приеду, вам всем припаяют!

Зеленый грузовичок с возвышающимся над кабиной краном, напоминающий жука-носорога, попятился задним ходом, потом развернулся и запылил по дороге вон из оврага.

— Нешто правда с милицией?— засомневалась Иваниха.

— Что вы, бабушка Ивановна,— отозвался Юра.— Он же говорит, что мы «сопротивлялись властям», да еще «при исполнении», а какая же он власть? Обыкновенный гицель... Пошли, Танек, побыстрее, за водой придется возвращаться опять к источнику, расплескали всю.

А пошли они неспешно. Взялись за руки и поша-

[1] **Гицель** — человек, промышляющий живодерным ремеслом. (Говор южных и западных областей России.)

гали себе потихонечку под теплым осенним солнцем.

Юра, улыбаясь, поварчивал:

— Ты, Танька, похоже, ненормальная. Подумаешь, какая Раймонда Дьен, под колеса кидаешься. Из-за какого-то несчастного пса. А ведь этот тип и наехать мог, с такого станется.

— Сам ненормальный, сам ненормальный,— пропела Таня на какой-то весьма легкомысленный мотивчик, помахивая в такт своей и Юриной рукой.— Кто чуть по физиономии не выдал этому типу? Потом бы расхлебывать пришлось. А все из-за чужой собаки, заметь.

Иваниха не прислушивалась к разговору ребят. Она сама с каким-то смущением думала об участии в спасении Цыгана. Надо же, ввязалась старая. И на что он нужен, Цыган этот? Хоть бы свой пес, а то чужая собака, брошенная, из-за нее вон в какой скандал ввязалась. Кто бы узнал — просмеяли бы, удивлялась она себе, не замечая, что сама в это время весело и победительно улыбается.

У дома Иванихи, у самого порога, лежал портфель жигаловского Генки, брошенный, видно, на бегу: выпавшие при этом книжки собрать было некогда. Значит, мальчишка еще бегает где-то здесь и вернется за портфелем. Он и правда вернулся, но не к Иванихе, а на место, где стоял его дом. Бегал по развалинам, заглядывая под кучу гнилых досок, кричал, чуть не плача: «Ищи, Цыган»,— а тот, не понимая, чего от него хотят, или не умея выполнить приказание, ложился вниз животом, укладывал голову на вытянутые вперед лапы и, виновато глядя снизу Генке в глаза, бил своим черным и гладким, будто отлакированная палка, хвостом по земле: дескать, и рад бы, да не умею...

— Вторая смена уже, небось, началась, а ты что же? — крикнула ему Иваниха.

— Я на продленке,— отмахнулся мальчик и продолжал рыскать по бывшему подворью.

Иваниха не знала, что такое продленка, и Генкиным ответом вполне удовольствовалась. Но Таня, как раз возвращавшаяся с Юрой от источника и услыхавшая Генкины слова, очень удивилась.

— Как на продленке? — спросила она. — Ты же сказал, что учишься во вторую?

Опять потупленный, сердитый взгляд Генки: «Вот еще пристала».

— Я ранец потерял! — крикнул он, немного погодя.— Вот тута клал, а теперь нету. Вы не видели?

— Да ты ведь сам его бросил здесь у порога. Теперь вон лежит на скамейке!

— Никого я не бросал! — Генка в два прыжка очутился во дворике Иванихи.

— Плохи твои дела, брат,— сурово заметил Юра.— Мало того, что уроки прогулял, так ты еще и врунишка. И этого мало, так еще, оказывается, ты человек рассеянный с улицы Бассейной. Ранец принес сюда, а ищешь где?

— Не носил я сюда! — почти с отчаянием закричал Генка.— Не носил, и все! Я его вон там, у нас положил, я не рассеянный!

— А ведь и верно, не он принес. Глядите-ка, ребята!

Во дворике, как и вчера, когда Иваниха выносила Цыгану суп в алюминиевой мисочке, неслышно возник большой старый пес Зимбер.

Встал поодаль, будто никакого интереса к людям не испытывал, только кожа на впавших боках, покрытая бурой с проседью шерстью, вздрагивала от напряжения да желтый, припыленный старостью глаз неотрывно следил за Иванихой.

— Зимбер принес.

Услышав свое имя, Зимбер поставил ухо торчком. Только одно ухо. Второе было сломано пополам в какой-то давней драке и постоянно висело книзу, отчего Зимбер был похож на забубенного парня в лихо сдвинутой набекрень кепочке, с торчащим из-под нее чубом.

— Зимбер, больше некому. Он ведь раньше что выделывал? Повесишь, бывало, на забор половик просушить или там бельишко какое, глядишь — нету. Где искать? Прямо иди к Туркиным, его хозяевам, у них под крыльцом найдешь. Все на свете, бывало, стаскает. Ну, Наташка Туркина тоже, бывало, охулки на руку не положит: что отдаст, а что получше, и «не видала», скажет. Она его, может, нарочно и приучала. Теперь хозяев-то нет, так он ко мне давай таскать. Подлизаться, небось, хочешь, Зимбер?

Осторожный Зимбер на всякий случай потрусил подальше к забору и оттуда повернул к Иванихе голову с одним опущенным, другим поднятым ухом — кепочка набекрень и чуб торчит.

— Удивительно,— проговорила задумчиво Таня,— у нас дома своей собаки никогда не было, и мне они издали все казались одинаковыми: четыре лапы, хвост... А у них у каждой — свой характер. Как люди...

— А как же не характер? Обязательно даже у каждой свой. Вот хоть Пальму взять...

— А тот дядька еще приедет?— перебил со страхом Генка.

— Слушайте, а ведь, действительно, не исключено,— спохватился Юра.— Даже, наоборот, странно было бы, если бы он сюда не вернулся: место разведано, добыча сама прыгает в капкан. Вот сколько их здесь: раз, два, три...

— Но как же быть, Юра? Мне завтра с утра на занятия. Тебе ведь тоже? А если он как раз завтра и появится? С утра?

— А я на что же здесь? Чай, мне не на занятия! — Иванихе нравилось, что эти ребята, которые вначале показались далекими и непонятными, так естественно и сердечно берут на себя заботу о совсем чужом для них Генке Жигалове с его Цыганом, о Зимбере, о Пальме. А главное, теперь ей становилось ясно, что Таня и Юра, все больше приходившиеся ей по душе, остаются с нею!

Она не догадывалась, что как бы само собой разумеющееся согласие ребят остаться здесь пожить было и для них самих неожиданным. Они так и рассказывали потом в общежитии, когда забирали Танины вещи, что сначала вовсе еще не решили оставаться жить у Ивановны. Потом как-то само все получилось. Танина подружка по комнате, Ирка, ахала и возмущалась:

— Да вы в какую дыру забираетесь? Сами же говорите: вода сломана, домик — «мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви». К чему такие переживания в наше время? Хоть бы подумали бы!

— Мы как раз собирались подумать обо всем этом,— оправдывалась Таня,— но тут, понимаешь, произошло...

— В общем-то ничего особенного и не произошло,— подхватил Юра, затягивая ремешком стопку Таниных книг.— Сущие пустяки. Просто изменилась точка отсчета...

— Какая еще точка?

Бедная Ирка. Она ничего не читала, кроме конспектов лекций, да и то только в ночь перед экзаменами. Откуда ей знать, что это такое, «точка отсчета»? Но она искренне беспокоилась за Таню, и Юра великодушно объяснял ей:

— Это, понимаешь ли, та печка, откуда начинают танцевать. Усекла?

— Ну, ясно, усекла,— очаровательно улыбнулась Ирка,— но только вы, старики, смотрите, если будет очень противно в этой вашей холодной землянке, танцуйте обратно. Что-нибудь сообразим, организуем. Ладно? А твое место, Таня, в нашей комнате так и останется твоим. Комендант пока не знает, что ты уходишь, а там видно будет.

Разговор этот в общежитии состоялся только на следующий день, а сегодня уйти от Иванихи они не смогли.

Сначала она стала уговаривать их поужинать с ней вместе:

— Когда еще до столовки своей доберетесь, и так, почитай, весь день здесь да не евши.

Ребята не очень упирались. Генка тоже не заставил долго себя упрашивать. Иваниха быстро растопила сухими щепками печку-каменку, поставила большущую кастрюлю с водой и принялась ловко чистить картошку. Таня стала ей помогать, пытаясь научиться так же, как старуха, одной тонкой спиральной стружкой снимать всю кожуру с картофелины. Каждый раз, когда ей это удавалось, она звала Юру из комнатки, которую он начал готовить к их завтрашнему переселению, и хвасталась своим искусством. Когда картошек набралось, по ее мнению, достаточно, она осторожно спросила:

— Может, хватит?

— Где ж хватит, на семерых-то? Нас четверо да этих,— показала за дверь,— этих-то троих куды ж теперь деваешь? Чай, есть-то хочут, анафема их забери.— И улыбнулась смущенно беззубым ртом.

Потом, разлив суп по тарелкам, она в оставшемся размочила куски засохшего хлеба, который хранила, так как выбрасывать хлеб считала за грех, и вынесла это пойло во двор Цыгану, Зимберу и Пальме.

После ужина Таня. повязавшись чистым Иванихиным фартуком, мыла посуду в тазике, Юра, чтобы не терять времени зря, чинил в соседней комнате покосившуюся ножку топчана, вместо молотка пользуясь подобранной во дворе железкой. Генку, ожидавшего Юру с Таней, чтоб вместе с ними ехать в город, Таня усадила читать вслух книжку по истории — урок, который он должен был выучить к сегодняшнему дню, но, конечно же, не выучил. Иваниха с интересом слушала.

Так их всех вместе и застала Лариса, явившаяся под вечер с «передачей», как она это называла, а иначе — с пакетом, в котором была вареная колбаса, молоко и творожный сырок для матери.

— Эт... это кто же такие будут? — спросила Лариса у матери, бесцеремонно разглядывая Таню и Юру так, как если бы они были неодушевленными предметами. — И Генка соседский. Ты-то к чему здесь, Генк?

Таня не знала, что Лариса — Иванихина дочь, подумала, что вошла соседка. Тряхнула своими длинными волосами, повернулась к ней и взглянула в лицо спокойно и строго, ничего при этом не говоря. А Лариса под этим взглядом почему-то смешалась, почувствовала неловкость и за это свое смущение рассердилась и на Таню и на мать. «Это надо же, кого понапустила в дом. Какая-то фифа, колдунья волосатая в брючках здесь командует да свысока посматривает. Этого еще не хватало!» — думала она, с трудом сохраняя на лице неопределенно-приветливое выражение.

— Не видишь,— улыбнулась мать,— гости у меня. Садись, и ты гостьей будешь.

Ларисе хотелось продолжить расспросы, но строгий взгляд Тани, спокойное достоинство Юры, с которым тот продолжал заниматься начатым делом, не обращая на нее никакого внимания, чем-то связывали ее, и она кивнула матери на дверь: «Выйдем-ка!»

— Что за гости такие? — принялась она в сенцах выговаривать матери.— Ежели по будням да по стольку гостей угощать, так на них ведь продуктов не натаскаешься. То ли на одну принести, то ли на четверых. Тут экую даль везешь, ноги-руки отсыхают, а она — гостей!

При этом Лариса вынимала из сумки и совала матери в руки пакетики так, будто наказывала ее.

— Не носи,— ответила мать,— а ты и не носи. Прошу я, что ли? Говорила вам с Клавкой — проживу на свою пенсию. Вот уж когда снесут нас окончательно, тогда видно будет. А пока — не носите ничего. И мне не указывайте, угощать мне кого или нет. Сама не маленькая.

— Главное — не указывай ей! — возмутилась Лариса. Этого уж она никак не ожидала от своей старой матери. С тех пор, как приехала сюда из Грушева, Иваниха держалась все тише и покорнее, возражать дочерям не смела и, если уж не соглашалась с чем-либо, то молча. А тут вдруг «не указывай».— Ну смотри, как хочешь. Мы делаем, как положено. Ты мать, кормить тебя мы должны и обязаны, значит, и привозим тебе. А уж ты, раз такая самостоятельная — хоть за один день все скорми, потом голодом сиди. Мне не жаль.

— Твоим, что ли, я сыта? Что хоть ты говоришь? — теперь уже возмущалась мать, но Лариса не слушала ее и продолжала:

— Главное дело — гости. Генка сопливый гостем у нее. А эти кто еще сидят, волосатики?

— Жильцов пустила. Жить у меня станут.

— Жильцо-ов? Ты чего, вовсе с приветом? Думаешь, хорошие люди пойдут сюда жить? Да еще из таких,— она передернула плечами,— в брючках. Шпана какая-нибудь. Может, убили кого, от милиции скрываются, а ты — к себе жить, да без прописки? Еще и поглядывает, понимаешь, как королева! — Это уже было брошено в адрес Тани с убежденностью, что та наконец разоблачена полностью.

— Ты-то умная. Будто не знаешь, что в нашу развалюху никто прописывать не станет.

— Факт, не станут. И так мирволят тебе долго. Завтра же схожу в исполком, пусть бульдозер присылают, раз ты добром не идешь отсюда. На тебя метры получены в другом месте, там и жить должна. А то шпану всякую насобираешь — отвечай потом за тебя.

— Смотрю я на тебя, Лариса, жизнь твоя все лучшеет, а ты все хужеешь. И отчего, скажи на милость? Вот за хлеб-соль мне выговорила, что ребят я угостила. Раньше уж как бывало плохо ни жили, хлеба-соли никому не жалели. Ну, да бог с тобой. Гостинцы-то свои забери. Бери, бери, они мне с таким твоим добрым словом поперек горла станут. И исполкомовских ты не беспокой зря, у них тоже на все порядок имеется. Выйдет срок — сами сломают. Вот так. А теперь айда в избу, чтò в сенях стоять.

— Нет, пойду. А жильцов своих ты все же выпроваживай. Не то с Толькой приедем — он живо их повытряхнет, у него не заржавеет! — Лариса замолчала. Теперь следовало бы уже уходить, но что-то еще удерживало ее. Наконец проговорила, превозмогая обиду:— А что я, по-твоему, все хужею, так уж какая есть. Доживать-то все равно тебе не с бродягами этими, а с Клавкой да со мной, с плохой. Не пробросаться бы плохими-то.

Ушла Лариса, убежал, не дождавшись ребят, Генка. А в ушах Иванихи все звучало безысходное и жестокое, как неумолимый приговор, слово «доживать». Ей почему-то страшно стало оставаться наедине с этим словом «доживать». Робко, боясь, что не

согласятся, она попросила Юру и Таню уже сегодня остаться у нее. Они остались без долгих уговоров. Юра подбросил дров в печурку. Пламя то тесно припадало к поленьям, облизывая их дочерна и не смея подняться — туман, вероятно, затруднял тягу, то, набрав сил, всплескивалось ввысь. Ребятам не часто приходилось видеть живой огонь. Оба примолкли, глядя на пламя. Успокоилась и Иваниха. Вспомнила про давно начатую работу, недовязанный носок. Спицы ловко заходили у нее в руках. У Тани на скулах выступил румянец, глаза заблестели. Юра все чаще переводил взгляд на нее.

— Ребяты,— засмеялась вдруг старуха своей недогадливости,— да ведь вам давно пора в свою горенку! Вон у вас глаза-то как полыхают!

— Чего полыхают? Это от печки отблески,— засмущалась Таня.

— Так все равно пора. Завтра рано вставать.— Юра сводил разговор к обыкновенному, а губы расплывались в улыбке.

— Ну, так чего ж,— подытожила Иваниха,— мне время на боковую. Сейчас я вам постелю изготовлю. У меня на койке во, целых три матраца лежат, а там у вас на топчане ничего не подмощено. Ну-ка, Юра, тащи один. И подушка есть и одеялов у меня два. Простынки вот нету чистой. Кабы знато было...

Иванихе очень хотелось устроить ребятам все так, как ей представлялось необходимым. Ведь это их первый семейный дом. И надо, чтоб начинался он по-людски. Кабы раньше знато было, она бы приготовила. А теперь где же взять? Где же взять?.. Вспомнила! Она вспомнила, где взять то, что могло сейчас больше всего пригодиться, и сама испугалась своей мысли. Но тотчас же молодая озорная улыбка смыла с лица испуг.

— Сейчас все найдем, милые вы мои, устроим, как следует! — Ловко вытащила чемодан из-под кровати, чуть приоткрыв крышку, нащупала смертный узелок и, не вынимая его, чтоб молодые не догадались, на что приготовлен был материал, потащила слежавшуюся бязь.— Возьми, Таня. Бери, бери, чего «обойдется»? Ты у меня гостья, должна делать, как велю. Вот хоть и не форменная простынь, зато новая материя, ни разу не стеленная, чистехонькая. Какая и следует!

Глава четвертая

Через несколько дней ранним утром Иваниха поспешила в магазинчик, что стоял в самом конце Кипятки.

Как раз подошел хлебный фургон, продавщица Гала принимала товар, и в магазинчике скопилась небольшая очередь.

— Булочку мне,— обратилась Иваниха к Гале, когда та вернулась,— вон эту, кругленькую. Городские они, что ли, называются, никак не привыкну.

Она как-то очень по-девичьи сконфузилась, поглядела с улыбчивой стеснительностью, будто приглашая понять эту ее маленькую слабость, и добавила, торопясь, чтобы продавщица могла взять всю ее покупку за раз:

— И еще черного мне буханку. Нет, три!

Продавщица на старухину улыбку никак не отозвалась, лишь повела своими выпуклыми, подернутыми перламутровой поволокой глазами и небрежно двинула по прилавку круглые подовые хлебы.

— Что ты, миленькая, не эти,— испугалась Иваниха,— мне подешевле. Эвон, кирпичики аржаные.

Гала рванула хлебы назад.

— Ходят, сами не знают, чего надо.— Перламутровые глаза теперь выражали оскорбленность и презрение к бестолковой покупательнице.

В очереди сзади Иванихи оказался молодой парень, шедший с автобуса в Троицкое да и заглянувший в магазин на Кипятку. Длинные волосы неопрятными сосульками падали едва ли не до плеч, отпущенная вдоль щек кудрявая поросль придавала юному лицу неожиданно старческое выражение. С привычной улыбкой обязательного остряка он обратился к Иванихе, но так, чтобы услышали все, стоящие вокруг:

— Зачем, бабуся, столько груза? На тот свет нынче налегке ходят, с одной авоськой! — Последнее слово остряк еле выговорил, захлебываясь смехом.

Иваниха сердито засверкала на него черными бусинами глаз.

— А ты откель знаешь, с чем туда ходют? Сам, поди, еще не хаживал, а других провожаешь? Ах ты, дурак, дурак, сопля ты нечесаная! — И пошла, ни на кого больше не глядя.

Всем находившимся в магазине понравилась старухина отповедь. Даже продавщица Гала улыбнулась.

Гала — имя ее было Галина, Галя, но она почему-то любила называть себя Гала,— была неотъемлемой частью Кипятки. По внешнему виду она так же мало подходила к этой убогой овражной улице, как и сама Кипятка — к светлой громаде Большого Города. Однако все они пока уживались вместе. У Галы над тонкими светло-русыми волосами, зачесанными на косой пробор, сверкает нимб кружевной наколки, специально для блеска выполосканной самой Галой в сахарной воде и так жестко накрахмаленной, что, кажется, упади эта наколка на пол,— разлетится в мелкие осколки со звоном, как стекло. У Галы бело-розовый круглый лоб, большие, чуть навыкате, светлые глаза, алый маленький рот, в ушах алые серьги — чешская бижутерия. Стан у нее в точности, как у той, что Гала привыкла видеть нарисованной на коробках с вафлями: шапочка-крылатка, белый фартук, а в руках несет подносик с чашечкой. Называется «Шоколадница». Гала не раз в задумчивости смотрела на эту картинку. Вот ей бы одеться так же да выйти с такой чашечкой, так на ту бы шоколадницу никто и глянуть не захотел. На телевидение бы ей, на конкурс «А ну-ка, девушки!» или еще какой-нибудь — за один вид могла бы призы отхватывать. Так нет же, вместо этого она продавцом на Кипятке. И когда только до конца снесут эту улицу окаянную! Перевели бы тогда Галу куда-нибудь в центр. А здесь и раньше-то никого интересного не было, теперь же вовсе кто остался?

— Идет тебе веселой быть,— говорит ей Шурка Козихина, женщина немолодая, грузная, с могучими плечами, обтянутыми красной шерстяной кофтой. Купленный хлеб давно лежал на дне козихинской сумки, но уходить Шурка не спешила. Стояла, навалясь грудью на прилавок, пачкая кофту в крошках и мучной хлебной осыпи, глазела, кто приходит-уходит, перебрасывалась словами с соседями.— Идет тебе веселой быть. Ты бы почаще улыбалась, сразу красоткой делаешься. А то все пахмурая да пахмурая. На твоем месте любая плясала бы с утра до вечера.

— С чего это?

— При хлебе находишься, вот с чего.

— Ну и что, при хлебе? — Гала обвела глазами полки, уставленные теплыми еще батонами разной величины и формы.

— «Ну и что, при хлебе»! — передразнила Козихина.— А то, что в войну за такое бы место полжизни не жалко.

— И что вы все так любите войну вспоминать?

— А то, что тогда хоть все сознательными были! — сердито уточнила Шурка, как будто именно это и имела в виду.

— То-то сама ты больно сознательная, лялякаешь тут со мной. Было бы сознание, работать шла бы, чем с пенсионной книжечкой сидеть. На тебе вон еще пахать можно.

— И сижу. Зачем доверие обманывать?

— Чье еще доверие?

— А государства. Чай, пенсию-то оно мне выдало,— хрипловато засмеялась Козихина, довольная своей находчивостью, и добавила: — А ты, девка, кабы изо дня в день потаскала, как я, утюг по мужским пальто, по тяжелому драпу, так тридцати бы на пенсию проситься стала, вот что.

Уходила из магазина Шурка в хорошем настроении. И время провела нескучно, и Гале этой доказала. Пусть не больно зазнается. Сама же Гала, наоборот, считала, что в споре победила она, а вовсе не Козихина, и продолжала мысленно называть свою собеседницу всякими нелестными именами.

Через некоторое время, когда Гала, зевая, посматривала на часовые стрелки, медленно ползущие к часу обеденного перерыва, Козихина снова вернулась красная, как ее шерстяная кофта. Тяжело дыша — при Шуркиной грузности быстро ходить, а тем более бегать было трудно,— она с порога поманила к себе Галу.

— Гальк, Гала, слушай-ка. Старуха-то давеча хлеб покупала, так знаешь, для кого?

— А мне зачем?

— Ты слушай! Собак она кормит, вот что!

— Каких собак?

— А я почем знаю. Иду мимо, гляжу, стоит у себя в ограде. В фартуке у нее черный хлеб нарезанный — буханку-то брала,— она ломает куски да в миску. А в миске у нее не то каша, не то суп какой-то, так она, видать, чтоб погуще было — хлеба туда. И... собакам. Их несколько вокруг нее. Вроде жигаловский черный пес, еще какие-то. Кидает да ругается, кидает да ругается. И окаянными их и всяко.

— Врешь!

— Сама видела. Думаю, уж не того ли она, не чокнулась ли, думаю?

— Да ты что?! — Вот когда сквозь перламутровую поволоку Галиных глаз пробился живой интерес. Гала даже вышла из-за прилавка навстречу Козихиной, сразу позабыв нелестные имена, какими ее называла.— Надо же! — усомнилась Гала.— Да эта старуха вот только что была, и ничего вроде незаметно было. Хотя, подожди-ка...— Будто вспоминая, выжидательно уставилась на Шурку.

Но почему-то Шурка новых подробностей не прибавила, а, наоборот, тоже усомнилась:

— Так, может, и правда, ничего с ней нет. Так просто, может, кормит. Хотя с чего, слушай-ка, ей кормить чужих брошенных собак? Да еще сдабривать ихний суп хлебом, на свои деньги купленным?

— Ну, ладно же, дождется она у меня теперь. Пусть еще придет за хлебом! С чем пришла, с тем и уйдет! — С каждым мгновением Гала все больше распалялась.

— Как же это так, уйдет! — не поверила Шурка.— Какое ты имеешь право не продать товар, если он есть в магазине?

— Не дам, и все! Пусть тогда ищет свое право. А я погляжу.— Гала хохотнула коротко и жестко.

Что-то было в этом смехе такое, отчего толстая Шурка оробела и даже пожалела, что не пронесла свою новость мимо, а явилась сюда, в магазин. Ее охватила неуверенность.

— Слушай-ка, может, я чего напутала? Надо бы сходить поглядеть, что ли...

До обеденного перерыва оставалось еще около часу. Гала быстро нацарапала на бумажке «Ушла на базу», прикнопила это годящееся на все случаи жизни объявление к двери и накинула на петли большой амбарный замок.

— Замерзнешь в одном-то халатике,— заметила Козихина.

— Да ну, здесь теплее, чем у меня в магазине, воздух прогретый.

А тем временем Иваниха, накормив свою скотину, как она стала называть четвероногую троицу, прилегла отдохнуть. На душе у нее было бестревожно и ясно. Тоска, что еще так недавно томила ее сердце, прошла. Не о близкой смерти думалось сейчас, а о делах житейских, представляющихся ей очень важными и безотлагательными. Под ее защитой в полной зависимости от ее забот были три жизни. Сейчас, когда три подопечных существа были ею накормлены и находились при ней в безопасности, она испытывала покойное чувство удовлетворения. И мысли ее вились вокруг того, как получше устроить все в той жизни, которой она сейчас жила. Больше всего ее заботило, как удержать собак, чтобы со двора на улицу не бегали.

На улицу, не ровен час, гицель подкатит, как коршун с неба упадет, рассуждала она сама с собой. А во дворе чем их удержишь? Первое дело, конечно. кормежка. Но она и так старается, уж и грех на душу взяла, целую буханку хлеба скормила. Надо бы овсяной крупицы, что ли, припасти. Цельная овсянка самая дешевая, ее для себя теперь и не берет никто, все норовят геркулес, но на Кипятке не купишь цельной овсянки, а в город ехать — это уж когда ребята вернутся из институтов. Бросать двор без присмотра сейчас не годится. Еще хорошо было бы конуру для собак построить. Юра пообещался в воскресенье сделать, но до воскресенья еще два дня ждать, а будка и сегодня бы уже нужна. Она, Иваниха, и досточек насобирала, сложила во дворе, только берись, строй. Да вот еще Генка, идоленок, придет ли в воскресенье помогать? А то Юра провозится с будкой этой, а ему заниматься надо. И так он, как приходит из института, минуты на месте не посидит. То за водой побежит, то дров наколет, то печку примется топить, то на крышу вчера полез, дырку латать. Вчера Таня пошумела на него, что он занятия свои запускает. Слишком, мол, увлекается этим, как его...— Иваниха никак не могла припомнить слова, которые говорила Таня, да и не поняла их. Но смысл-то был ясен. Запустит Юра учение, не будет дома готовиться — экзамены как сдавать станет? «Сильно, мол, увлекающийся»,— сказала Таня. Строго так, будто на маленького, пошумела. Иваниха вспомнила, как это было, и заулыбалась. Они вроде и спорили, а вроде и нет. Никакого зла не было в их словах. У Ларисы с Анатолием, бывало, и безо всякого спора не поймешь, то ли ругаются, то ли по-хорошему разговаривают. Все вроде чем-то недовольны. То он пробурчит, то она оборвет так, что, думаешь, сейчас руки в ход пойдут. Но, правда, до этого не доходило. Даже не обижались на грубости, будто так и надо. А этим как раз в пору бы разругаться — он ей одно, она ему другое,— а нет, улыбаются ласково. Мол, ты не обижайся, а послушай-ка меня и согласишься со мной.

Вот жаль только, мало чего поняла Иваниха и слов не запомнила, только самую суть.

— Как можно, Танюшка,— возражал Юра своей юной жене,— мы ведь живем здесь, как можно рук не приложить? Это ты привыкла дома: мама, бабушка, все хлопочут, чтоб Танечка ручки не испачкала.

— Как не стыдно! — Таня краснеет, на мужа не смотрит.— Как не стыдно! Ты тоже знаешь, у нас все работают. Бабушка, и та на пенсию не уходит. Отец и ночью допоздна над бумагами. Даже когда мы с тобой приезжали. И вообще при чем тут...

— Не обижайся, маленькая...

Спустя немного после этого разговора Иваниха посоветовала Тане:

— Ты сама с ним посиди, позанимайся. Ведь мужик, он что? Он иной раз все равно, что дитё. А у тебя и мужик-то еще молоденький. Вот и посиди, объясни, чего там надо, а после этого ему и самому охотней заниматься-то станет.

— Что вы, бабушка Ивановна,— засмеялась в ответ Таня,— я же гуманитарий, в его науке ничего не смыслю.

— А говоришь, на учительницу учишься... Чай, учительница все должна знать. Ты, гляжу, шумишь, а сама не смыслишь. Лезешь в волки, а хвост собачий.

— Как, как? Юрка, Юр, послушай, какая прелесть! — и побежала к Юре, сидящему в комнатке над книгами, мешать заниматься.

Все-таки славных ребят послала судьба, право, вспоминая вчерашнее, улыбалась Иваниха. Только вот надолго ли? Надо бы как-то вызнать срок окончательного сноса Кипятки. Если на всю зиму оставят, так дровец бы примыслить еще хоть немного, а то вдруг не хватит? И конуру тоже для собак строить — не строить? Нынче выстроишь, а через месяц сломают, тогда чего делать?

Так в беспокойстве о тех, кто ее окружал, с кем теснее всего была связана сейчас ее жизнь, Иваниха и задремала.

...Когда продавщица Гала и Шурка Козихина подошли к Иванихиному дворику, Пальма, Зимбер и Цыган отдыхали, расположившись с непринужденностью старожилов. Пальма, сытая и довольная, разомлела на осеннем пригреве, как-то очень беспорядочно раскинулась не то на спине, не то на боку. Хвост был откинут назад, передние лапы безвольно разведены в стороны, а согнутая задняя приподнята на весу, будто как раз в тот самый миг, когда собачка выбирала, что лучше — поспать или побегать, ее заморочил сон и поднятая для бега нога так и повисла. У самого входа в дом сидел Зимбер, приподнявшись, как сфинкс, на передние лапы и сторожко оглядывал из-под полуприкрытых век ставшее теперь своим подворье.

Поодаль от Зимбера и Пальмы лежало на земле нечто черное, с матовыми отблесками, круглой, почти циркульно-правильной формы.

— А это вон жигаловский лес,— показала Шурка.

Теперь и Гала различила в этом непонятном черном кругляше спящую собаку, и вид ее еще больше разгневал продавщицу.

— Как на курорте все равно,— сердито сострила она,— всякими фасонами разлеглись.

Гала смотрела на Иванихин двор так, будто здесь ее лично оскорбили.

— Нет, погляди, ведь всякими фасонами,— гневно повторила она,— как все равно в Сочах разлеглись, нажравшись-то! — Наклонилась, подобрала с дороги обломки кирпича и стала кидать в собак. В одну, другую, третью

Иваниха, выскочившая из дому на собачьи вопли, увидела удаляющийся в сторону магазина стройный стан продавщицы и рядом переваливающуюся с боку на бок Шурку Козихину.

Зимбер, просунув голову меж колышками ограды, гавкал им вслед хрипло и отрывисто, со злым, натужным присвистом, словно зашедшийся от ярости астматический старик.

Цыган выскочил вдогонку на дорогу с ожесточенным лаем. Пальма заливисто скулила, перебирая тонкими ножками.

«С чего это они набросились? — не поняла Иваниха.— Вроде смирные такие собаки... Хоть бы ребята скорей приходили, что ли»,— с тревогой подумала она, по деревенской привычке глядя на солнце, чтобы по нему определить время.

— Вы чего же взъярились, ну? Погибели на вас нет! — беззлобно ругнулась она.

Глава пятая

Иваниха, однако, не предполагала, что погибель собачья именно в эту минуту приближалась к ее двору. На вершине пригорка показался зеленый грузовичок с контейнерами и краном, завис над дорогой, словно раздумывая, потом, осторожно притормаживая на колдобинах, стал спускаться по дороге вниз.

Старуха сразу узнала, чья машина, как будто в упор увидела перед собой гладкое, смуглое, с водянисто-голубыми промоинами глаз лицо самого гицеля, и опрометью бросилась к тем, чьи жизни были под ее защитой.

— Цыган, Цыган, назад! Домой! Цыган, гад такой, кому говорят! — подбежала, пнула бесцеремонно. Цыган послушно затрусил в сенцы распахнутого домика. Туда же Иваниха втолкнула и Пальму. Зимбер перестал брехать на дорогу, но в дом не пошел, остановился посреди двора. «Ну, да этот и в ловушку не кинется, его не подманишь»,— с уверенностью подумала старуха. Сама она вошла в сенцы и прикрыла за собой дверь. «Что за гость, подумать-ка, встречать еще его»,— рассуждала она про себя. Ежели гицель, как тогда грозился, вертается лично к ней, Иванихе, с милицией, так и без встречания мимо не проедет. Она смотрела в окно из сенец, и больше всего ей хотелось, чтобы грузовичок проехал мимо. Но он, похрустев по щебню и обломкам кирпича бывшей жигаловской усадьбы, остановился у ее, Иванихиной, калитки.

— Ну, чего ж теперь,— потерянно проговорила старуха,— что уж, от милиции не спрячешься...

Потихонечку отворила дверь, выглянула. Возле грузовичка стоял один только гицель, Иван Тимофеевич Кузенков. В кабине машины тоже никакого милиционера не было видно. Тогда робость ее враз испарилась.

— Ты зачем сюда? — крикнула она строго.— Проезжай давай!

— А тебе что? Я на дороге стою, не у тебя во дворе. Дорога-то для всех.

Он будто забыл о недавнем, будто и не злился никогда. Спокойно так вынул руки из карманов. А в руке — Иваниха сразу заметила — косточка от окорока. В кармане была. Точно. Старуха мгновенно сообразила, зачем ему эта косточка. Поспешно, путаясь в узелках, развязала тесемки передника у себя за спиной, сдернула лямку через голову и быстро-быстро — к Зимберу. Передник накинула ему на спину, а тесемки стала завязывать под шеей. Зимбер покорно подчинялся, только здоровое ухо еще больше приподнялось и слегка вздрагивало. И тут гицель рассмеялся. Гладкое смуглое лицо с сумеречными окошками глаз пошло продольными морщинами.

— Смотри-ка, седло надевает на пса! Это что, нынче мода такая? Ты чего это старая,— покрутил пальцем у виска,— совсем того?

— Иди-ка ты! — отмахнулась Иваниха.— Хозяйская собака, понял? Даже не вздумай! — И погрозила сухим, темным кулачком.— Не видишь — хозяйская!

— Да вижу, вижу. Раз попона надета — факт,— развеселился гицель.

— С тех пор, как Цыгана у тебя отбили, ты сюда еще хоть раз приезжал? — спросила вдруг Иваниха, сурово глядя на Кузенкова.

— А что?

— Скалого уж который день не видать. Твоя работа?

— Моя — не моя, это без разницы. Ежели собака бешеная или без надзора, такую положено прибрать в первую очередь. Имеется постановление и инструкция.— Он полез в нагрудный карман, где, по-видимому, у него хранилась нужная бумажка, но Иваниха отвернулась: не надо, мол, и так ясно.

— Этих прибирать бы следовало, какие сперва пса на цепь сажают, а потом бросают безо всякого. Хозяева, язви их-то! — Она собою загородила от гицеля собаку с накинутой на спину попоной из фартука.— А Зимбера ты не трожь, слышишь? Только тронь, попробуй! — И топнула ногой. Вместо грозного стука получился слабый шлепок по пыли, и это опять привело ее собеседника в веселое настроение.

— А ведь ты зря, слышь, бабка,— смешливо заговорил он,— зря, говорю, переживаешь. Кому он нужен, этот шелудивый? У него, гляди, от старости шерсть вылезает. Чтоб я связался с таким дерьмом? Себя не уважаю? Она его еще фартуком прикрывает, милягу! — Потом сменил тон: — Нет, а тебе-то он зачем? Особняк твой караулит? Богатство, да?

— Иди отсюда, иди! — закричала во весь голос Иваниха, красная от обиды и негодования, и замахала поднятыми руками, как будто он муха, которую можно отогнать.— Ехай!

Пока они так разговаривали, Пальма, не замеченная Иванихой, выскочила вслед за ней в отворенную дверь. Чуткий нос унюхал волнующе-знакомое: смесь машинных запахов железа, резины и бензина с незабываемым ароматом вкусной еды, какая всегда водилась для нее у прежнего хозяина, шофера треста столовых и ресторанов. Дрожа от нетерпения, Пальма проскользнула узким своим телом меж колышков ограды и в одну секунду очутилась возле грузовичка, в кабине которого на сиденье лежала сумка гицеля с объедками и костями, специально взятыми для приманки.

— Ну, вот, это совсем другое дело, не то что старый шелудяк,— сказал довольным голосом гицель, беря собачку на руки. И руки эти так знакомо пахли старым хозяином — бензином и едой,— что Пальма совсем не сопротивлялась.

С молодой стремительностью Иваниха вылетела за калитку. Пальма, понимая, что Иваниха хочет отнять ее у этих сильных, сладко пахнущих едой рук, злобно зарычала на нее, показывая острые зубки.

Гицель бросил Пальму в кабину, захлопнул дверцу и запер на ключ.

— Отдай, не балуй,— велела Иваниха. Голос ее теперь был не столь сердитым, сколько просящим.— Слышь, отпусти ее!

— Никак невозможно,— отвечал небрежно гицель,— псина молодая, пойдет по первой категории.

— Отпусти, слышь, я тебе четвертинку дам. Сейчас вынесу, как не веришь.

— Четвертинка!..— Гицель презрительно сплюнул.

— А больше ж у меня откуда? — торговалась старуха.— Слышь, не уезжай. Погоди, говорю, я сейчас не четвертинку, а цельные два литра. Ей-богу, не вру, только ты подожди.

Вернулась, неся туго налитую резиновую грелку и граненый стакан.

На ходу отвернула пробку — из грелки ударило резким бражным духом.

— Ты не побрезгуй, что из грелки. Она крепкая, даже горит, а приправлена кофием да еще вареньем. Это зятев отец, сват мой, делал, да нам вот прислал гостинец. Попробуй-ка. Да возьми хоть всю, вместе с грелкой, не жалко мне, слышь, только отпусти ты Пальму. Не бери греха на душу, а?

— Да что ты пристала с сивухой какой-то! Алкоголь за рулем разрешается, нет? Провокацию под меня подводит, понимаешь! — Он починил уже, что надо было в моторе, и с силой захлопнул капот.

— А ты не сейчас, опосля руля-то, как домой приедешь, значит. Возьми, миленький, а? Отпусти Пальму.

— Нет, прямо цирк с тобой,— отвечал гицель, с ласковой усмешечкой рассматривая Иваниху.— Ну хоть сказала бы, на что она тебе сдалась? Есть дамочки, на ленточках собачек водят, и бантики им вяжут и попонки расшитые, медалей навешает кобелю да шерсть выстрижет, как все равно нилоновую игрушечку сделает. Забава для них. Ну, ты-то, деревенский человек, должна понимать, что зачем. К примеру, поросенок — на сало, корова там — на молоко, на мясо, коза, овца — тоже всяк для своего дела. Оно и пес, конечно, нужен, так то ж сторож, друг человека. А у тебя, ну, скажи, что сторожить? И главное — не твои ведь псы-то.

— Мои! — решительно кивнула Иваниха, крепко сжимая в руках грелку.— Мои, и все. Собаку отпусти. Все равно стребую — права не имеешь!

— Ни ошейника на ней, ни паспорта нету. Ничего не стребуешь. Ты все же, бабка, чудная, чего ты так хлопочешь из-за чужих собак? Шерсть ты с них чешешь? Нет?

— Миленький,— Иваниха мобилизовала тишайшие ноты своего голоса,— уважь ты старуху. Отпусти собачку. Я деньгами заплачу. Сколько тебе за нее? Отдам, не торгуясь, сколько скажешь, только ее выпусти.

— А может, ты из них мыло варить надумала?

— Тьфу на тебя, господи прости! — Иваниха перекрестилась.— Либо ты есть кругом дурак, либо подлая душа.

— Ну-ну, ты!

— Подлец и есть. Неужто не смыслишь, что она животная, она же ведь жить хочет, вот как ты сам примерно. Самого бы тебя на живодерню стащить. Понравилось бы, нет?

— На меня план не спущен на живодерню тащить. Поняла? А на них,— показал на Пальму, вертящуюся в кабине возле сумки с объедками,— на них имеется, особенно на район сноса жилых помещений. И санитария тоже требует. А план что? Выполнения нет — монета не идет. Выполнение есть — почет тебе и уважение. Поняла? Я еще время с тобой потерял, так меня же за добро обзываешь повсякому. Бескультурье и темнота.— Бросил сигарету на дорогу, сплюнул и прыгнул в кабину.

Иваниха уцепилась за дверцу кабины, словно она, такая легонькая, могла удержать грузовик.

— Отцепись! — не глядя на Иваниху, бросил гицель. Мотор, как всегда, у него заводился не сразу.— Если что, я не отвечаю, учти, сама под машину лезешь!

Короткий гудок клаксона довершил угрозу. Медленно повернулись колеса. Иваниха, все еще надеясь, что гицель сейчас выпустит собачку, не отнимала руки от дверцы кабины и бежала рядом. Но машина катилась, постепенно набирая скорость Едва не попав под колесо, старуха наконец отскочила В последний раз в окне мелькнул бело-рыжий Пальмин хвост, и грузовик запылил по дороге.

Первой пришла из института Таня. Увидела Иваниху, понуро сидящую на леньке, возле камня, где стыла погасшая керосинка. На Танины расспросы старуха подробно пересказала, как было дело, что говорила она, что отвечал гицель и чем все кончилось.

— Давно был? Отсюда куда поехал? — Портфель к себе в комнату Таня зашвырнула через сенцы и устремилась к калитке, на ходу выслушивая объяснения Иванихи.

— Вон в ту сторону подался, где дома уже все снесенные. Может, еще там кого ловит, а может, уже сдавать поехал. Ты не бегай, все равно не отобьешь. И опасно с ним одной, в безлюдном-то месте...

— Я не к нему. Я прямо туда, к его начальству поеду. Ему еще попадет за такое самоуправство.

— Не докажешь, дочка. На ей, на Пальме, ошейника нету. И паспорт какой-то надо, он говорил. На собаку-то паспорт!

— Докажу. Уже сам факт моего прихода...

— Далеко ли ты с тем фактом поспела? Идти-то хоть куда, знаешь, что ли?

— Н-нет. А правда, бабушка Ивановна, как же быть? И, главное, Юрка не скоро придет. У него сегодня коллоквиум.

— То-то на Юрку своего вся у нее надёжа. Раз он тебе муж, так, думаешь, на все про все ответить может? Ему-то откуда знать, где живодерни эти? Подумала бы вперед, чем говорить.

— Так что же делать, баб? А если в справочной спросить? Справочные киоски все на свете знают.

Достала из кармана кошелек с мелочью, проверила, хватит ли на проезд, и бегом в гору. Длинные волосы запрыгали по плечам, блузка, по-мальчишечьи заправленная в брюки, от встречного ветра — пузырем на спине.

Потом пришел Юра. И он, не дослушав до конца подробности, помчался назад, к автобусу.

Солнце покатилось к закату. С горы, от высоких зданий упали тени, притемнившие весь овраг, и сразу над Кипяткой заколыхались первые, еще разрозненные пуховики тумана. Стало зябко. Иваниха надела свою овчинную дулейку, сверху теплый плюшевый жакет, которым когда-то очень гордилась, купив его на колхозную премию; пошла потихоньку в гору, да и остановилась у начала убегающей к городу накатанной дороги.

На фоне дотлевающего заката ясно рисовался ее одинокий, немного наклоненный вперед силуэт. Различался даже конус платка, повязанного «домиком», сборчатая темная юбка, слегка относимая ветром в сторону.

Продавщица Гала, которая, закрыв свой магазин, медленно шла к автобусу с тяжелой, до отказа набитой и наглухо застегнутой сумкой, отчего ее стан выглядел не столь уж и стройным, издали узнала Иваниху, но, поравнявшись, конечно же, не спросила, зачем здесь стоит старая и кого ожидает, не боясь ни ветра, ни зябкого тумана. А если бы и спросила, то что̀ могла сказать Иваниха? Что ожидает, не вернется ли домой Пальма, которая по собственной глупости и жадности отправилась на погибель? Что ребят она ожидает? А кто они ей? Да никто...

Не было у Иванихи таких слов, какими она сумела бы объяснить, что связало ее с Таней и Юрой и почему так волнует ее судьба немудрящей собачонки Пальмы. Отчего тоскливое ощущение доживания сменилось у нее в последнее время обыкновенными человеческими заботами, огорчениями и радостями.

Ребята вернулись одни, без Пальмы. Пока Таня разыскивала, где находится нужное ей учреждение, пока добралась туда, прошло несколько часов. А была пятница, и работники того учреждения торопились покончить со всеми делами, чтобы не оставлять на выходные дни, на субботу и воскресенье, себе лишних забот... В спешке этой, между прочим, пресеклось и существование на земле забавной и нелепой собачки Пальмы, дворняжки с примесью ценных пород. Ни Таня, ни Юра, который спешил на подмогу, да и никто другой на их месте уже не смог бы помочь Пальме.

В этот вечер они втроем долго сидели перед «телевизором», которому Юра и марку придумал: «И-1», то есть «Ивановна-1». «Один» в этом случае обозначало еще и «единственный в своем роде». Попросту говоря, сидели перед открытой дверцей печки и, глядя на изменчивые очертания пламени, разговаривали. Иваниха сама и назвала свою печку телевизором за то, что ребята полюбили вечерами после занятий посидеть возле огня, так же как другие у обязательного экрана. Сегодня разговор все время вился вокруг гицеля.

— Если хорошенько подумать, то большой город и без такой профессии, как у него, обойтись не может,— рассуждала Таня.— Но отчего душа его такая глухая и слепая?

— Какая еще душа? Инструкция — и все!

— Нет, что ни говорите, ребята, хоть на какой должности будь, а если ты не человек, так и все сикось-накось. Вот у нас одно время был бригадир в колхозе...

Юра трижды подносил со двора охапки дров, и трижды они догорали до тонкого пепла, а разговор все длился, пока сон наконец не стал слеплять ресницы.

Глава шестая

А на следующий день к Иванихе пожаловал еще один нежданный посетитель. То есть она знала, что он может когда-нибудь заглянуть, но не думала, что это произойдет так скоро. Во дворике у нее в это время царила строительная суматоха. После того, что случилось с Пальмой, нельзя было больше позволять собакам бегать без присмотра, им нужен был дом и даже цепь, которая бы удержала их в пределах двора. Медлить нельзя было ни дня. Как только ребята пришли из своих институтов, работа закипела. Сначала поспорили, какой он должен быть, этот собачий дворец на две персоны. Потом решили просто строить без всякого плана, как получится. Припасенных Иванихой дощечек оказалось мало, и Генка, кстати появившийся здесь, был назначен главным снабженцем стройки. Он понесся на развалины своего дома, на чужие разоренные подворья. Всюду валялось столько строительного хлама, что можно было выстроить персональные особняки не только для Зимбера и Цыгана, но для целой своры собак.

Юра сноровисто отпиливал доски до нужной величины и с видимым удовольствием размашисто сколачивал их. Гвозди были ржавые, все старые, собранные Иванихой и Генкой на развалинах, и Юра осторожно выправлял их молотком на железке. Он все время напевал, приспосабливая мелодию к ритму работы. Таня, не найдя себе применения на «великой стройке», принялась давать руководящие указания: «Юр, этот гвоздь слишком большой, он будет вылезать вовнутрь, слышишь, Юрка, вот этот возьми...» Или: «А дверцу надо устроить на восток. Первые лучи солнца будут попадать им прямо в домик»...

А Юра считал, что будка должна глядеть лицом на калитку. Не желая спорить, он поднял Таню на руки

и деликатненько отнес ее на крыльцо, где сидела Иваниха. И снова запел под аккомпанемент молотка. Иванихе показалась знакомой Юрина песенка. Если бы он не растягивал мелодию, когда подбирал очередную дощечку, и не обрывал ее в лад со стуком молотка, она бы ее сразу узнала. Особенно слова: «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить...»

— Ты откуда знаешь эту песню? Чай, ее сейчас не поют, все другие какие-то. А у нас, помню, давно, я еще молодая была, кино в село привезли. Там пастух был, эту песню пел. Ну и наши, деревенские, выучились. Вперед девки, а потом и мы, бабы. Я петь-то любила. А эту давно не слыхала.

— Теперь, бабушка Ивановна, мода на старые песни возвращается. На хорошие. И вообще мода старая возвращается, даже на одежду. Вот Таньке мама юбку прислала — пишет, последний крик, а по-моему, как раз из вашей молодости. Таня вам рассказывала, что воспитывает родителей в духе уважения нашего с ней суверенитета?

— Кого?

— Ну, в том смысле, что мы денег у них не хотим брать. Самостоятельно хотим жить.

— Как же, я спрашивала Почему, мол, на хорошую квартиру вам не присылают деньжонок-то. Выходит, гордые вы, ну, это тоже неплохо.

— И по-моему, нормально. Ну, вот, а ее мама видит — деньги обратно ей отсылаем, так она давай посылки. Вчера получили очередную. Мне две рубашки, ей юбку с кофточкой. Юбка — до самого пола. Покажи, Танюшка.

Таня пошла в свою комнатку и тотчас вернулась, одетая в голубую блузку и длинную, до пят, юбку, сшитую из перемежающихся полос голубого, в цвет блузки, и черного с голубыми цветами материала. Новый наряд как-то сразу преобразил Таню. Выпрямившись, отставив назад чуть согнутые в локтях руки, как это делают манекенщицы, когда демонстрируют новые модели одежды, кокетливо приподняв пальцами широкие края юбки, она поплыла по дворику, горделиво косясь на Иваниху и Юру.

— Хороша-то как! Сразу из себя такая вальяжная стала, самовитая,— сказала, любуясь, Иваниха.— А нешто правда носить станешь? Неуж мода опять на них вернулась? Вот и ладно бы, а то брюки, они все же не для нашей сестры, ну-ка их. Раньше-то, право, куда красивше носили...

Таня, закончив свой, как она говорила, «сеанс мод», убежала в дом переодеться.

Иваниха улыбалась чему-то своему, просветленно и мечтательно. Лариска, дочка, представилась ей в такой вот кофточке поднебесного цвета, в юбке до полу, с плавно колышущимися, текучими сборками, делающими статную фигуру дочери еще стройнее и величественнее. «Еще бы платочек в руку, кружевной,— мысленно дополняла она дочерний наряд.— А черноволосой и черноглазой Клавдии, той бы пошли цвета погорячее. Бордовый атлас или вишневый. Уж на что была бы хороша, всякий бы встречный оглянулся».

Вот в это-то время, прерывая Иванихины мечты, явился во двор тот нежданный посетитель, возвращая Иваниху к действительности. Старуха узнала его, здороваясь, назвала по имени-отчеству, Павлом Васильевичем, и, будто испугавшись чего-то, стала ждать, что этот Павел Васильевич скажет.

Несмотря на то, что осень только по вечерам пугала сыростью и холодом, а дни еще стояли теплые, с ласковым солнцем и бесшумно летящими паутинками, человек этот был одет, как говорится, на все погоды. Из-под распахнутого плаща виднелся толстой выработки серый, в елочку пиджак, фетровая шляпа была сдвинута на затылок. В руках он держал сильно потертый портфель из кожзаменителя. Поздоровавшись, он заложил руки с портфелем за спину, широко расставил ноги и, оглядывая Иванихин дворик, со всем, что на нем творилось, свистнул.

— Строитесь, значит? — обратился к Иванихе.— А про то, что капитальное строительство на Кипятке запрещено, знаете? — спросил и сам заулыбался, чтобы все поняли, что он шутит.— Подлежит сносу, а вы новый дом начинаете. Нехорошо.

Обитатели дворика молча ждали, когда гость перестанет шутить и скажет наконец, зачем пришел. Иваниха, впрочем, сама догадалась. Она знала, что Павел Васильевич работал инспектором жилищного отдела райисполкома. Весной, когда еще все домики на Кипятке были целы и во всех жили люди, Павел Васильевич часто бывал здесь, записывал, у кого в семье сколько человек, поедет ли в новые дома вся семья вместе или нужны раздельные квартиры. У него же получали Клава с Ларисой смотровой ордер на новую квартиру. И сейчас разве без дела он зашел бы сюда?

— Значит, так,— сказал Павел Васильевич, посерьезнев,— значит, так..,— и, поглядев в записную книжечку, добавил: —...Анна Ивановна. Должен вас, Анна Ивановна, предупредить, что избушке вашей осталось стоять ровно три дня. Во вторник начинаем снос. Исполком принял решение до зимы снести на Кипятке все строения и убрать мусор, чтобы весной, как стает снег, сразу приступить к освоению территории. С вами у нас нет никаких трудностей. Прописаны вы в другом месте, по существу, уже давно не имеете права здесь проживать. Так что, будьте добры, распишитесь в том, что предупреждены, и в час добрый, переселяйтесь к дочкам. У вас, вижу, молодежи много, помогут, без всяких трудностей. Мне вон Ермишиных выселить — так это, скажу вам, задача серьезная. Три квартиры им предлагают, а они отказываются. Только вместе хотят. А где им пятикомнатную найдешь? Вот и крутись, Павел Васильевич. Да. Это вот тоже,— он кивнул на собачью будку,— это вот тоже не имеет смысла возводить. Всего три дня.— Подал Иванихе раскрытую папку и карандаш, отметил ногтем, где надо расписываться.— Вот здесь, пожалуйста...— снова заглянул в книжечку и снова добавил: —...Анна Ивановна.

Иваниха будто бы что-то сказать хотела, но ничего не сказала. Оглядела ребят, тревожно слушающих инспектора, Генку, крепко прижавшего к себе Цыгана, свой домик, развалины жигаловской усадьбы, за которыми открывался пламенеющий на горке кустарник, и подписала крупными неровными буквами свою фамилию там, где велел инспектор.

Скрипнув, закрылась за Павлом Васильевичем калитка. Юра, во все время разговора почему-то не выпускавший из рук молоток, сейчас бросил его и ногой отшвырнул доску, которую перед этим собирался приколотить. Первой нарушила молчание Таня.

— Ну, Юра,— примирительно заговорила она,— ну в общем-то это же хорошо. Людям же человеческое жилье дают вместо этих хибарок. Вообрази, у этих Ермишиных четверо детей. Все ходят в школу. Где им уроки готовить, читать, играть? Особенно зимой. Теснотища, сырость. Зимой здесь даже воды принести — и то подвиг, верно, бабушка Ивановна?

— Да носили воду, ничего,— задумчиво, словно с трудом отрываясь от каких-то своих мыслей, ответила Иваниха.— Оно, конечно, в новых домах все лучше. Там и ванные есть, ребятишки на пианинах играют. Кто ж скажет, что хуже там... Только это кому как...

— А... Цыган? — Генкин вопрос вернул всех к насущиым заботам.

— Цыгана я бы взял с собой. И Зимбера тоже,— сказал Юра.

— Куда?

— Н-ну туда, где мы поселимся...

— Юрочка! — Такого легкомыслия Таня в своем муже не предполагала.— А еще говорят, что физики — основательные люди. Кто же впустит жильцов с двумя собаками?

Иваниха сидела на пеньке, крепко сцепив руки на коленях. Она слышала и не слышала, что говорили ребята. Ей виделся зеркально-лаковый пол новой квартиры, забытый на комоде глиияный барашек с отбитым рогом, жесткое дребезжание проволоки под тонюсеньким желтым коготком выгодной птицы канарейки. Там не было места ни Цыгану, ни Зимберу. Было ли там место ей, старой Иванихе? И еще почему-то явилась перед глазами белая ткань, бязь из ее смертного узелочка, какую отдала Тане на простыню. Кто знает, почему именно сейчас вспомнила об этом? В тот раз, когда думала о переезде к дочкам, она смертный узелок пересматривала, может быть, потому и сейчас в памяти ее это встало рядом. Или по каким-то иным законам сознания? Однако она все больше углублялась в свои думы, не слыша ничего вокруг.

Прошло уже столько дней после того, как отдала Тане эту ткань. Таня уже стирала ту простыню и сушила во дворе на верезке. Иваниха сама закрепляла ее деревянными защепками, чтоб ветер не снес, и ни о чем тогда не вспомнила. Ей и сейчас не было жалко этой ткани. Подарила от всей души, радовалась, о чем тут жалеть? А вот как до сих пор не вспомиила, что надо другую ткань для узелка смертного купить, это удивляться надо. «Эка бездумная,— мысленно обругала себя Иваниха,— эка бессовестная! Довела до чего — умру, и гроб покрыть нечем. И еще полотенец не забыть купить, на чем опускать-то будут. Вафельных бы, те на метр продаются».

Так она долго еще сидела бы, все дальше углубляясь в свои мысли, совсем не связанные с тем, что происходило рядом, если бы не потребовался ее совет. Генка предложил было отвести Цыгана в школу. Пусть себе живет на школьном дворе. А то даже можно возле сарая — в углу школьного двора сарай стоит — так там такую же будку выстроить, как здесь хотели. Кормить ребята будут. Каждый принесет чего-нибудь или от завтраков останется.

Тане Генкино предложение не просто понравилось, а привело в восторг. Действительно, как все просто решается! У класса или у пионерского отряда общая собака, одна на всех. Ее по очереди кормят, с нею играют, берут с собой в походы. Все так прекрасно выстраивалось, что хоть сейчас садись и пиши курсовую работу на тему о внеклассном воспитании учащихся: «Воспитание любви к животным укрепляет дисциплину», или «...укрепляет чувство общности и коллективизма», или что-нибудь еще в этом роде.

Юра тоже склонен был согласиться с этой идеей. Оставалось выслушать Иванихино мнение.

Иваниха резонно заметила, что если так сделать, ребятишки школьные затаскают бедного пса, заиграют совсем. Да и сам Цыган не так прост. Если, упаси бог, ему кто сильно надоест, он и тяпнуть может. Вот тогда уж и совсем беда. Еще какой директор попадется, а иной не сочтет за грех на ту же живодерню отправить, только бы показано было, что меры, мол, приняты, виноватый, мол, наказан.

Таня, как и ее муж, не могли допустить такой мысли о школьном директоре. Но идея передать Цыгана в школу как-то потускнела. То, что Цыган вполне может тяпнуть, было не таким уж невозможным. Остыл к своему предложению и сам Генка, так как не был уверен, что директор согласится.

Внезапно в полной тишине и безветрии с неба, плотно затянутого серовато-белой облачной пеленой, посыпались крупные редкие капли дождя. Сначала капля ударила Юру по носу. Он схватился за нос, стал смешливо оглядываться, не понимая, откуда ему попало.

Таня рассмеялась:

— Очень выдающаяся архитектурная деталь — твой нос, притягивает дождинки.

У Зимбера его целое ухо настороженно встало торчком, а сломанное дрогнуло и повисло. Он слизнул с морды капли дождя, шумно встряхнулся и затрусил к крыльцу, чтобы улечься в безопасности. На гладкой черной шерсти Цыгана обозначилась блестящая мокрая дорожка, потом еще, еще. Крупная дрожь пошла по коже, но влага не стряхивалась, капли падали все чаще. Тогда и Цыган побежал к Зимберу под козырек крыльца. Пошли к дому и ребята с Иванихой. Все уселись в сенцах. Дождь был не по-осеннему тепел, закрываться от него не хотелось. В раскрытую настежь дверь виден был весь двор, куст сирени, под которым желтели свежие щепки. Листья сирени — они дольше всех сохраняли свой сочный зеленый цвет — вздрагивали и моргали, как ресницы, когда с них скатывается слеза. Запахло смоченной пылью, увядающей травой, начавшим опадать листом. Генка притулился к Цыгану, молча смотрел на шумящую стену дождя широко открытыми серьезными глазами, тем взглядом, какой однажды в детстве навсегда впитывает очертания родных лиц, живые мгновения родной природы.

Неожиданно для себя, глядя на Генку, заговорил о своем детстве Юра:

— А вот когда я маленьким был, вот с Генку, мы возле Конского рынка жили. Я ведь здешний, отец потом на стройку перевелся, мы выехали, а в детстве здесь, рядом с Конским, на Прогонной наша квартира была. Часто на рынок бегал. Кого только там не было. И рыбки аквариумные, и попугайчики, и морские свинки...

— А Конским почему называется? Коней ведь там не продают? — спросил Генка.

— Когда-то продавали, давно. Я уже не застал. Тогда коровами тоже там торговали, в общем, домашним скотом. Знаешь, что такое домашний скот? Ну, так вот, а потом это все как-то изменилось, еще до моего рождения, не знаю когда, а название осталось Конский, хотя продают и покупают только ту живность, какая у горожан в квартирах бывает. Птицы там разные, кролики, кошки, собаки...

Юра смолк. А в самом деле, почему он вспомнил о детстве и не о чем-то другом, а о Конском рынке? Собаки? В самом деле, собаки!

— Да... Мы с отцом там кота купили. Ну и кот был! Сиамский. Сначала светлый был, потом желто-бурым стал, с черным воротником. Поет потрясающе. Точно говорю — поет. Иначе никак не скажешь. И вообще такого другого в мире нет. Сейчас мама в письмах от него приветы шлет. С собой его взяли, когда переезжали отсюда. А однажды пошли Петьке Масленникову собаку покупать. Братишка у него был, тот дога хотел, мама — пуделя. А мы с Петькой привели вот такую псину, больше Цыгана, и никакой в нем породы. Крику было дома...

— И что, выгнали? — спросил как-то очень уж заинтересованно Генка.

— Почему выгнали? Остался у них, у Масленниковых. Петька с ним гулять ходил.

И Таня и старая Иваниха теперь тоже как-то особенно заинтересованно слушали Юру.

— Ты почему в дипломатический не пошел, Юра? Похоже, родился как раз не физиком, а дипломатом

— Я ничего такого не хотел, Танюшка, честное слово. Как-то само... Вспомнилось.

— Ну, может быть, и не зря. Может быть, и нам попробовать вывезти их туда, а?

— Кого, их продавать? Цыгана не дам,— запротестовал Генка и обеими руками обнял собаку, словно у него сейчас ее отнимали.

— Зачем же продавать? Торгаши мы, что ли? Так отдадим, если хорошему человеку собака нужна.

— А как вы его узнаете, какой человек?

— Все-таки видно. Это и невооруженным глазом бывает видно. Тем более у бабушки Ивановны опыт. Так ведь, бабушка?

— Опыт-то опыт, милая, а продать — оно верней. Хочешь знать — за бесплатно никто брать не станет. Особенно если хороший человек. Этот сразу скажет: как бесплатно — так ничего товар не стоит.

— Ну, это в конце концов детали. Важно принять решение.— Юрин характер требовал определенности.— Как, бабушка, разумно это — отвести на Конский?

— Как тебе сказать? Боле ничего не выдумаешь.

Все примолкли, каждый по-своему обдумывая принятое решение. В наступившей тишине все обратили внимание на едва слышное поскуливание, постукивание. Зимбер распластался вдоль порога, нервно вздрагивающий хвост бил по доскам пола, а вытянутая к людям морда выражала и панический страх и мольбу одновременно. Он жалобно поскуливал, желтые глаза, старчески помаргивая, в смертельной тревоге заглядывали в лицо то одному, то другому, то третьему.

— Неужели догадался? — почему-то шепотом спросила Таня, как будто теперь боялась, что Зимбер понимает каждое слово.

Юра, не выдержав вопрошающего Зимберова взгляда, отвернулся. И тогда старый пес трудно поднялся, еще раз оглянулся на сидящих в сенцах и шагнул за порог в шумящую глубину дождя. Цыган тоже было забеспокоился, стал подниматься, но Генка удержал его. Зимбер моментально взмок, бурая с проседью шерсть прилипла к коже, сразу стало видно, что кожа обвисает на худом теле, обозначились ребра, крупные мослы лопаток. Уныло свисало сломанное ухо. Мокрый и от этого еще более жалкий, Зимбер пошел прочь от порога, за угол дома.

— Зимбер! — крикнул опомнившийся наконец Юра.— Зимбер, назад! — Выбежал сам следом, но очень скоро вернулся, на ходу снимая с себя и выжимая мокрую рубашку.— Нету нигде, как сквозь землю провалился.

— Придет, куда он денется,— сказала Иваниха и добавила, отвечая не то Тане на ее вопрос, не то себе: — Все понимает, а как же. Старый!

Но Зимбер не вернулся и утром. Его звали в три голоса, Юра добежал до самого магазина, заглядывал в развалины — Зимбера нигде не было. Один раз ему показалось, что из-за кучи полусгнивших бревен, оставшихся на месте какой-то бывшей избушки, кто-то смотрит на него. Потом мелькнула желто-бурая голова с одним опущенным ухом. Но, подбежав поближе, Юра никого там не нашел. То ли показалось, то ли хитрый Зимбер спрятался. Приходилось везти на Конский одного Цыгана. Не оставлять же его на добычу гицелю. А откладывать поездку, хоть день с самого начала и стал складываться неудачно, смысла не имело: было воскресенье, единственный день недели, когда этот рынок работал. Еще одной недели у них в запасе не было.

Пока ждали Генку, Таня из старого Юриного пояса сшила Цыгану ошейник. Иванихина бельевая веревка пошла на поводок. Цыган был экипирован и почищен, оставалось только решить, какую за него назначить цену. Пришел Генка, стали советоваться.

— Это вот он пусть назначает,— кивнула на него Иваниха.— Его пес, ему и деньги.

— Не надо мне за Цыгана денег. Я не буду! — чуть не со слезами взмолился Генка.— Я не хочу. Давайте за так его отдадим хорошим людям. И чтоб пускали к нему приходить играть.

— Вона, еще чего хочет! Ладно, там видно будет. И про цену давайте здесь не загадывать, рынок сам покажет. Как люди, так и мы. Опять же четверо нас. С пересадкой на двух автобусах туда да оттуда, это сколько же денег? Вот и цена.

— У меня проездной, проездной у меня! — суетливо и слишком громко прокричал Генка. Он вообще в это утро говорил громче обычного, без всякой нужды носился по двору из угла в угол, в волнении упустил из рук веревку.

Цыган, не привыкший к ошейнику и поводку, обрадовался и убежал. Пришлось долго его ловить. Когда вели на горку, к автобусной остановке, он упирался, не желая идти на поводке. У автобуса опять произошла заминка: Иваниха уже села, вошла и Таня, а перед Генкой с Юрой и Цыганом водитель захлопнул дверь, хотя места в автобусе еще были. Поднялся шум. Одни пассажиры ругали водителя, ворчали, что начальников развелось на каждом шагу, все указывают, как надо жить, как не надо, с кем ездить, с кем нет. Другие, наоборот, громко ужасались, до чего обнаглела молодежь, никого не уважают, прутся с собакой, как к себе домой, а что тут публика — и пожилые есть и дети,— на это им наплевать.

— Да мне что, я хоть по всему кругу покатаю,— оправдывался молоденький водитель в модной пестрой рубашке, обращаясь к одной только Тане.— Инструкция не велит. Приводите в наморднике, тогда — пожалуйста.

Иваниха и Таня сошли с автобуса. Вслед за ними, раздвигая смыкающиеся створки автоматических дверей, выскочила Шурка Козихина, только что собравшаяся было куда-то ехать.

— Вот зараза,— бросила она в сторону водителя, показывая на всякий случай свое сочувствие.— А вы далече пса-то поволокли? К ним, небось, к Жигаловым?

— На Конский рынок едем, Цыгана продавать! — отрапортовал Генка, пребывающий все еще во взбудораженном состоянии.

— А, батюшки! Да кому ж он нужен? Станет ли кто покупать Цыгана-то твоего? — певуче, с нарочито преувеличенным интересом спрашивала Козихина у Генки, а улыбка ее, обращенная к взрослым, меж тем объясняла, что она просто сюсюкает с ребенком, поддерживает разговор, вовсе не принимая всерьез чепуху, которую сболтнул мальчик.

Взрослым было не до нее. Посовещавшись, решили взять такси и пошли на шоссе, к новым домам, искать машину. Козихина осталась на автобусной остановке в полном расстройстве. Не было до сих пор на Кипятке новости, которую бы первой не узнала она, Шурка. И вот теперь, когда Кипятка кончается навсегда, может быть, одна из самых последних ее новостей укатила из-под Шуркиного носа на машине с шашечками. Как тут не расстроиться?

Ехать Шурка в это утро собиралась к дальним родственникам, просить, чтоб помогли при переез-

де на новую квартиру. Но родственники, они никуда не денутся. К ним можно и вечером. А новость — ее надо доузнать и досмотреть сразу же, по горячему следу. Козихина села в подошедший наконец автобус, доехала до нужного перекрестка и решительно вышла, чтоб пересесть на маршрут, идущий до Конского рынка. Единственно, о чем она жалела,— о том, что продавщица Гала не может в эти часы бросить магазин и ехать с нею вместе.

Глава седьмая

Каменные и железные столбики коновязи, начинающиеся у домов Прогонной улицы, клочья сена и навоз под ногами, ржание, хрюканье, мычание, блеяние остались в далеком прошлом Конского рынка. Теперь над его воротами дугой выведены слова «Добро пожаловать», а возле выстроились киоски, лотки, тележки с мороженым, пирожками, бутербродами, сладкой водой. На щитах по обе стороны ворот почему-то намалеваны охристый тигр среди зарослей, похожих на картофельную ботву, и кит, плывущий по белесым волнам. Ни тигров, ни китов здесь никто не продавал и не покупал, но продаются же здесь удивительные рыбки из теплых морей! Коты продаются здесь сиамские, сибирские, ангорские, серые, белые, полосатые. Кто из них хоть раз в жизни не чувствовал себя тигром, вышедшим на охоту в джунглях? А жаркоперые птицы, оранжевые, как огонь, синие, как отблески булатной стали, птицы, летающие прямо над головой у кита и почти под ногами тигра, разве они не похожи на канареек, щеглов, полугайчиков, синичек, что продаются в птичьих рядах? Нет, все правильно нарисовано на рекламных щитах бывшего Конского рынка.

Только компания, приехавшая на такси с овражной улицы Кипятки, сегодня не разглядывала ни щиты, ни то, что было за ними. Генка слишком волновался из-за предстоящей разлуки с Цыганом, Юра и Таня много раз здесь бывали. Одна лишь, пожалуй, Иваниха с любопытством окинула взглядом прилавки, уставленные странными банками с водой, где за стеклянными стенками, то круглыми, то квадратными, царственно ленились или метались с непонятной быстротой невиданные ею доселе рыбки, некоторые величиной с комара.

Узким проходом, минуя навесы над птичьими рядами и столы, на которых стояли клетки с морскими свинками, белыми мышами, ежами, кроликами и прочей живностью, они прямиком прошли к собачьей площадке. Оттуда еще издали доносился надрывный собачий лай. Цыган зарычал, шерсть на загривке зашевелилась, он бросился вперед, натягивая веревку. Юра взял из рук вконец растерявшегося Генки поводок и сильно прижал Цыгана к себе.

Собачья площадка представляла собою большой, плотно утоптанный прямоугольник, обнесенный не очень высоким забором. Первое, на что обратили внимание все четверо, а более всего Цыган, был дальний от входной калитки угол, откуда слышался ожесточенный собачий лай. Так собака лает, когда кидается в драку. Такой лай не бывает долгим, чем он злее, тем короче. А здесь надрывный, уже безнадежный в своей однотонности, собачий крик продолжался, по-видимому, давно, потому что, кроме небольшой кучки мужчин и нескольких мальчишек, плотно окруживших собаку, на тот угол никто особенного внимания уже и не обращал. Даже собаки, которых было здесь довольно много, притерпелись. Некоторые даже дремали, лежа возле забора под присмотром своих хозяев, другие лениво лохаживали туда-сюда, сколько позволял поводок. Юра быстро оглядел всю площадку и повел своих на свободное местечко под забором, подальше от лающей собаки. Там из дощатой стены забора торчал небольшой, но крепкий крюк, к нему и привязали Цыгана. Потом Юра уверенно потрогал одну доску, она подалась. Оказывается, он знал эту доску еще много лет назад. За забором, как раз против этой доски, стоял ларек, где продавалась фруктовая вода. Там много было пустых ящиков из-под бутылок. Именно из-за этих ящиков и отрывали доску каждое воскресное утро. В образовавшийся лаз их втаскивали внутрь, на собачью площадку, и усаживались на них отдохнуть. Больше не на чем здесь было присесть тем, кто привел продавать кошек, собак, собачек.

Юра наконец появился, проталкивая вперед себя ящик. Усадил Иваниху отдохнуть.

Генке хотелось все получше рассмотреть, но отойти далеко он пока боялся. Вертелся вокруг Иванихи, поглядывая во все стороны. Вот неподалеку от них лежит на боку большая собака с кудрявой шелковистой шерстью. Возле нее в большой корзине копошатся, повизгивая, щенки. Над краем корзины поднимается то одна, то другая толстенькая, белорозовая щенячья мордочка. Их мать — огромная собака Джина — предупреждающе рычит. Она приведена сюда как наглядное пособие: вот какими станут щенки, когда вырастут. На корзинке сбоку написана цена за щенков. Она такая высокая, что ни Генка, ни Иваниха, ни Таня не верят в ее реальность.

— А что, у меня не такое барахло, как ваша дворняга,— обижается, услышав их разговор, растрепанная хозяйка Джины.— Моих еще надо суметь вырастить. Я по четыре раза в ночь вставала их прикармливать. Молока-то у нее,— кивнула на Джину,— не хватает.

— И вам не жалко? Выхаживали специально, чтобы продать?

— Прекрати педпрактику! — шепнул Юра, дернув Таню за рукав.— Воспитаешь ее, что ли?

— Меня-то кто бы пожалел. Дачу строим — скоро вовсе голыми останемся.

— Ты-то не останешься, милая,— ворчит Иваниха и отворачивается.

Посредине площадки разгуливает женщина лет тридцати в дешевеньком, но модном плащике, на котором, как роскошный меховой воротник, раскинулся живой, очень пушистый кот. Голова кота прильнула к плечу женщины, возле ее лица, хвост свешивается с другого плеча, а сзади по воротнику топорщится великолепный рыжий мех. «Воротник» мурлычет, женщина ходит и ходит по площадке, время от времени останавливает проходящих мимо нее, чаще обращается к женщинам и говорит одни и те же слова:

— Ни за что бы не продала, если бы не любовь. Замуж выхожу, а он Марсика не желает, он с детства котами напуганный. Любовь заставляет, а то бы никогда не рассталась, правда, Марсик?

По площадке расхаживают покупатели. Вместе со взрослыми — и ребята. И постарше Генки, и помоложе, и такие, как он. Приглядываются к животным, спрашивают цену, отходят, подходят снова. А вот неподалеку от нашей компании покупка, по-видимому, совершилась. На ватнике, расстеленном прямо на земле, сидит человек с выбеленными солнцем волосами и загорелым до коричневости лицом. Пе-

ред ним на газете ломти хлеба и толсто нарезанная вареная колбаса. Обедает: один бутерброд себе, другой — собаке. Но собаку кормит не сам: хлеб с колбасой держит другой человек, а руку его с бутербродом подводит к собаке хозяин.

— Ешь, Бирка, ешь,— добродушно приговаривает хозяин,— ешь, не бойся, привыкай.

Потом, когда Бирка насытилась, хозяин защелкнул поводок на ее ошейнике и стал подробно объяснять тому человеку, который покупал собаку, как и чем ее кормить, как приучать к себе. Долго записывал новый адрес Бирки, потом диктовал свой. Он жил на какой-то пригородной станции.

— Ежели случись что, может, вам выехать нельзя будет, прямо телеграмму мне отбейте. Тут езды полтора часа, я сразу прискочу. Ну, думаю, привыкнет, обойдется.

Цыган сидит возле Генкиных ног, оглушенный всем, что творится вокруг него. Апатичный и потерянный, он ни в ком не вызывает интереса. Одни проходят мимо, равнодушно скользнув взглядом, другие даже не смотрят. Понимая, что сидеть здесь, очевидно, придется долго, Таня с Иванихой командируют Юру к ларькам за бутербродами и фруктовой водой.

Надрывный собачий лай по-прежнему будоражит слух. Таня идет в дальний угол, где столпилась кучка любопытных. Оказывается, привязанная к большому крюку, мечется на короткой железной цепи овчарка, большой матерый зверь с проседью в густой шерсти. Она прыгает, бросаясь грудью вперед, натягивает цепь на всю длину и остервенело лает на окружающих ее людей. Кажется, сейчас цепь не выдержит, лопнет, и овчарка сомнет, порвет всех, кто стоит вокруг нее небольшой, но плотной кучкой. В кучке этой спрашивают друг друга, чья собака, куда делся хозяин. Ответить никто не может. Только двое впереди ничего ни у кого не спрашивают. Время от времени то один из них, то другой тычет в овчарку длинным прутом или, дразня, машет на нее кепкой, а то поднимет с земли камешек и кидает. Тогда от злости и невозможности разорвать обидчиков овчарка совсем захлебывается лаем.

— Что вы делаете? Зачем дразните? — кричит Таня.

Человек с круглым плоским лицом, в приплюснутом на лоб беретике отвечает, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Зачем, зачем? Мы, что ли, ее тут привязали да бросили? — Потом оглядывается на Таню, и с его бледных расшлепанных губ срывается грязное слово.

Таня заливается краской.

— Шли бы вы отсюда,— говорит стоящий рядом с Таней молодой парень.— И всем здесь нечего делать. Давайте, мужики, давайте расходиться.— Парень моложе многих, стоящих рядом с ним. Но говорит так уверенно и властно, что ему не возражают.

Только коренастый чернобородый мужчина в вельветовой куртке, опять-таки ни к кому в отдельности не обращаясь недоумевает вслух:

— Куда ж все-таки подевался хозяин? Найти да по морде бы мерзавцу!

— Додон, Додон! — послышался вдруг задыхающийся от бега голос.

К поредевшей толпе бежал высокий, кудрявый, с круглыми зелеными глазами и мягкой рыжеватой бородкой человек.

Овчарка смолкла. Замерла, вся напружинилась, принюхиваясь и глазами ища окликнувшего ее. И вдруг, подняв морду кверху, издала тонкий, заливистый и долгий крик.

— Додонушка, Додон, это я, Додошка,— ласково окликал собаку высокий.

Но овчарка теперь еще ожесточенней рвалась с цепи, не обращая больше на него никакого внимания.

— Твой, что ли? — спросили у высокого.

Тот отрицательно замотал головой.

— А где же хозяин? Знаешь его?

— Хозяин сейчас уже, наверное, там,— и показал на небо.

— Как так?

— Летит. У него самолет должен был отойти...— посмотрел на часы,— полчаса назад.— Вчера вечером я последний раз к нему приходил, просил — сбавь цену. А он уперся, и все. Билет на самолет мне показывал. Думаю, утром прибегу, заберу, авось до утра поумнеет. Опоздал. Соседка по квартире сказала: взял, мол, вещички, Додона вывел. Говорил, что зайдет на Конский, Додона продаст, а потом с деньгами на самолет. Ну, я бегом сюда. Посторонитесь, пожалуйста, я отвяжу его. Додон, фу! Успокойся, Додон.

— Нет, не возьмешь! — выступил из толпы тот, в беретике.— Это всякий придет сказки рассказывать. Ты докажи, кем он тебе приходится, этот Додон, что право ты имеешь.

— Да как же так, товарищи? — растерянно стал оглядывать всех своими круглыми глазами высокий.— Я ж рассказываю...

— Придется обратиться к дирекции рынка,— сказал молодой парень, который вначале предложил расходиться,— пойдемте, я с вами. Случай не простой.

Они ушли. Человек с плоским лицом продолжал кипятиться:

— Мало ли чего он директору наскажет! Не давать, и все! Может, хозяин еще вернется, а ежели нет, так и у нас такие же права, как у этого бородатого.— Он вынул из кармана сверток, развернул целлофан и бросил Додону кость с мясом. Тот даже не взглянул.

Удрученная Таня пошла к своим. Юра уже вернулся и отпустил Генку поглазеть вокруг.

— Приманивает, как гицель,— заключил Юра, выслушав Танин рассказ.

— А если Цыгана сегодня никто не купит? — упавшим голосом спросила Таня.— Мы же все разъедемся. Неужели и ему такая же судьба?

— Подожди плакать. Надо что-нибудь придумать.

— А чего придумывать,— сердито сказала Иваниха,— так-то сидеть, знамо, никто не подойдет. Ишь, пес-то расстроился, прижух. Наш Толька, бывало, скажет: «Хочешь жить, умей вертеться». А ты что же, Цыган? Слышь-ка, ты бы нам сплясал, что ли, враз зрителея полно набежит.— Она ободряюще подмигнула Цыгану. но тот не отреагировал.— А чего,— возразила ребятам на их молчаливое сомнение,— раньше коня, к примеру, продать — тоже без хитрости не обходилось. Так тебе его выведут да прогуляют, искры из глаз да из-под копыт летят, а домой-то приведешь... Ну, мы хоть без обману, но раз взялись за гуж, надо поворачиваться. Давай, Юра, зови-ка Генку.

— Что ж ты, парень, сам бегаешь, а Цыган у тебя совсем заскучал. Ишь прижух как. Давай-ка поиграй, повесели маленько, чего ему тосковать.

Простодушный Генка, застыдившись того, что бросил друга, стал тормошить пса, прыгать возле него с пряником, принесенным Юрой. Цыган оживился, вскочил, стал играть с Генкой, подпрыгивать весело исполнять привычные фокусы.

Девочка лет двенадцати, ходившая по собачьей площадке, по-видимому, с отцом, заинтересовалась потащила отца к Цыгану.

— Как его зовут? — спросила издали.

— Цыган... Цыган, скажи «здрасте».

Цыган небрежно гавкнул, глядя в сторону.

— Нет, хорошо скажи, сидя. Сидеть! Вот теперь говори. Скажи «здрасте».

Теперь собака, весело глядя девочке в лицо, гавкнула несколько раз, что и должно было, по-видимому, означать «здрасте».

— А приносить палку он умеет? Можно я с ним поиграю? Он не укусит?

— Да нет, он смирный. Вот смотри.— Генка дал в руки девочке пряник и показал ей, как заставить Цыгана подпрыгивать, ловить свой хвост, «служить», присаживаясь на задние лапы.

Девочка удивлялась, хохотала, раскрасневшись, с Генкой наперебой командовала Цыганом. Потом требовательно потянула отца за рукав:

— Пап, ну! Этого, пап, больше никакого!

— Но, Машуля, нам же нужна сторожевая собака, а не та, которая играет с первым встречным. Он хоть лаять-то умеет?

— Он все на свете умеет, правда, Цыган? Ну-ка покажи! — Генка с полной самоотдачей вошел в роль собачьего продавца. А вернее, просто не мог допустить, чтобы кто-то подумал, будто его Цыган чего-нибудь не умеет, и снова с азартом принялся демонстрировать Маше Цыганово искусство.

Отец девочки, поправляя очки, стал объяснять, что собака нужна на дачу, и, разумеется, лучше, если бы она была сторожевой, полезной собакой.

— У нас там мои старики живут, Машины бабушка и дедушка,— охотно вошел он в подробности,— мы только на субботу и воскресенье приезжаем. В будни Машуля в школе, мама в своей поликлинике, я в институте, а старым одним скучно. Раньше хоть Рой голос подавал, то на ежей охотился, то на птиц лаял. Глупый, конечно, но веселый песик. А теперь и он состарился, вроде на пенсии, спит целый день. Просили привезти молодую собаку, и желательно посерьезнее, но Маша, вот видите...— Он как бы жаловался на Машу, в то же время, безусловно, принимая ее диктат. Потом справился о цене.

Иваниха отвечала осторожно, что о цене можно договориться, лишь бы знать, что пса не обидят.

— Да кто ж у нас обижать станет, помилуйте? — принялся горячо заверять отец девочки. Для него вопрос о покупке был совершенно решен. Теперь только бы хозяева не раздумали продавать.

— Папа, они ее бесплатно отдают, пап, слышишь, они переезжают. Мне вот он рассказал.

Пока Маша и Генка торопливо обменивались адресами, записывая их на обертке от Машиной шоколадки, Иваниха, Юра и Таня стали объяснять новому знакомому, какие обстоятельства заставили расстаться с Цыганом.

А между тем, пока Иваниха с ребятами переживали все эти события, Шурка Козихина стояла на автобусных остановках, пересаживалась с маршрута на маршрут и наконец добралась до Конского рынка. Она много лет не была здесь, забыла, где что находится, и вместо того, чтобы прямиком направиться на собачью площадку, свернула в птичьи ряды. И здесь, к сильному своему удивлению, увидела тех, кого меньше всего ожидала увидеть. Дочка Иванихи Лариса, принаряженная по случаю воскресенья, шла со своим мужем Анатолием, тоже нарядным и с виду весьма чем-то довольным.

— Надо же, какая встреча! — радушно бросилась Лариса к Шурке.

Когда они соседствовали на Кипятке, то недолюбливали друг друга. Теперь Козихина была частью прошлого, которое всегда кажется милее, чем было на самом деле, и Лариса искренне Шурке обрадовалась. После первых вопросов Ларисы о ее житье-бытье Шурка наконец решилась осторожненько выяснить, как следует понимать появление здесь Ларисы, заодно ли она с матерью и теми ребятами. Сохраняя все тот же легкий тон вопросов-восклицаний, она спросила:

— Ну чего, продали уже?

— Кого? — удивилась Лариса.— Кого продавать-то? Только в прошлое воскресенье кенаря купили, а кенарят еще ждать-пождать придется. Сейчас мы только корму взяли здесь, на рынке. За кормом приезжали да так, посмотреть, что почем. За кенарят хорошо дают. Тебе про канарейку мать рассказала?

— Про какую еще канарейку? Она со мной и не разговаривала. А ты правда здесь ее не видела?

— Здесь, маму? — удивилась, в свою очередь, Лариса.— Зачем она сюда?

— Так ты и правда ничего не знаешь?

Поверив наконец Ларисе, что та не знает о приезде матери, Шурка с радостным волнением, каким всегда она воодушевлялась, когда первой передавала кому-то необычную новость, рассказала все, что знала. Как Ларисина мать раскармливала чужих, брошенных собак, целую свору, как сегодня одного из псов повезла с какими-то ребятами сюда, на Конский, продавать. На такси повезла!

— Неужто, слышь, псы теперь в такой цене, что она связалась?

— Господи, да что же это? — страдальчески воскликнула Лариса.— Где они есть? Пошли, Толик, со мной,— позвала мужа, стоявшего поодаль.

Иваниху, ребят и их новых знакомых — Машу и ее отца — они увидели сразу и прямиком направились к ним.

— Да что же ты делаешь, мама? — закричала Лариса еще издали и начала так громко не то жаловаться, не то ругаться, что ее причитания перекрыли гомон, царящий на собачьей площадке.— Что ты делаешь? Ведь не голодом же сидишь! Зачем же ты детей-то своих позоришь? Без копейки, что ли, оставили тебя, что ты на помойке чужих псов подбираешь да продаешь? И не стыдно тебе? — На Ларису теперь обращали внимание все, кто находился на собачьей площадке. Начали подходить любопытные, но она не унималась и кричала еще громче: — А этих проходимцев сейчас в милицию сдам! Зачем старого человека в такую грязь впутали?

Машин отец, который от Иванихи, Тани и Юры уже успел узнать обо всех обстоятельствах, предшествовавших этому скандалу, подошел к Ларисе, как бы загораживая от нее остальных.

— Послушайте, вы все неверно поняли,— заговорил он, мягко прикасаясь к ее руке.— Дело в том, что...

— Все я поняла отлично! Толик, тут еще какой-то с ними. За милицией надо сбегать. Сбегай, Шурка, а ты, Толик, тут будь, не уходи.

— При чем же милиция? Мы с дочерью купили вот эту собаку. Она ведь не вам принадлежит, нет? Ну вот, все в рамках закона. Пожалуйста, не кричите, успокойтесь, ничего плохого тут не произошло, уверяю вас. Машуля, давай мне поводок, ты не удержишь его.— И он намотал на руку Цыганов поводок, а другою взял за руку Машу, чтобы увести обоих подальше отсюда.

— Нет, погодите, так этот позор на нас останется, что мать псами с помойки торговала. Я не допущу. Сколько вы им заплатили? Возьмите деньги обратно, возьмите, мы не нищие какие-нибудь! — Она стала рыться в кошельке, а Машин отец напрасно пытался ей объяснить, что денег за свою покупку он не платил нисколько.



— Неужели вас больше устроило бы, если бы такая славная собака попала на живодерню? — выдвинул он последний аргумент, но и этот успеха не имел у Ларисы.

Юра тоже пытался ее урезонить, но она еще сильнее разошлась, крича, что с ним-то будет разбираться в другом месте, вот только милиционера сейчас приведут...

— А зачем его сюда, милиционера-то? Я за ним и не ходила,— спокойно заметила Шурка Козихина, сплевывая шелуху от семечек, — собаку не ворованную продают, никто не дерется...— Она со страстным любопытством наблюдала за скандалом, который сама же и заварила, и не ушла бы отсюда, даже если бы было очень нужно. Сейчас же, по ее разумению, во вмешательстве милиции и не было нужды.— Лучше бы ты, Толька, домой их увел тихо-мирно,— обратилась она к Ларисиному мужу, который стоял сбоку, переминаясь с ноги на ногу и не решаясь ни поддержать жену, ни вступиться за Иваниху.

— Ну хватит, ладно,— взял он наконец жену за руку,— ничего такого тут нету. Домой придем, разберемся. Давайте, мама, пошли отсюда, к нам поедем.

Иваниха, молчавшая все это время, теперь как бы вышла из шока и смотрела на зятя, словно что-то обдумывая.

Потом выговорила спокойно:

— А мне домой, парень, надо, на Кипятку. Собираться нужно. К тебе ведь переезжаю, мила дочь. Завтра избушку ломать начнут...



Это «мила дочь» было сказано Иванихой так, что прозвучало, как горький упрек. Но Лариса этого не заметила. Ее занимало другое.

— Во, видишь? Говорила я тебе, не зарывайся, мать! С ними, что ли, оставаться тебе? Не слушала. Теперь куда деваться? К дочкам, куда же еще.

Таня, которая во время всей этой сцены стояла, обняв Генку за плечи, не отпуская от себя, дернулась к Ларисе, но Юра остановил ее.

— Чего ж теперь,— продолжала Лариса.— Завтра Клавка выходная, да вот он отпросится. Часам к двенадцати жди, перевезут тебя.— И добавила жестко: — Там уж этакого позора не допустим. Будешь жить как надо.

Обратно ехали в полупустом автобусе, разъезд публики с Конского рынка еще не начался. Ребята подавленно молчали, Иваниха нарочито бодрилась:

— Ничего, ребяты, всяко бывает, вот Цыгана пристроили, завтра меня повезут. Тоже не под забор, к дочкам все-таки. Вы-то вот как же останетесь?

— Да мы что, мы в порядке. Постараемся сразу же найти какое-нибудь жилье. И вас позовем к себе в гости. А то совсем живите у нас, как только устроимся. Правда, Юра?

— Это мысль. Давайте, а, бабушка Ивановна?

Она посмотрела на них долгим внимательным взглядом. «Верят ли хоть сами,— мысленно спрашивала себя,— верят ли в то, что предлагают ей? А если бы она согласилась? На попятный бы пошли? Или понимают, что не согласится, и нарочно кидают добрые слова? — Умная улыбка сощурила глаза-бусинки.— Нет, не нарочно. Молодые, добрые, жизни как следует еще не знают...» Помолчала немного и наконец ответила на их вопрос:

— Нет, ребяты, что вы, от своих нельзя никак.— Потом еще раз утвердила с безрадостной значительностью: — Свои...

На каком-то перегоне она увидела магазин с четкой вывеской «Ткани» и поднялась, чтобы выйти на остановке.

— Вы ехайте, ребяты, а я скоро следом приеду. Мне тут купить надо кое-чего. Белая материя тут, должно, есть, так куплю. Очень нужна мне.

Через день на овражную улицу Кипятку приехал бульдозер и машина с рабочими. Оставшиеся еще домики стояли пустые. Хлопали незапертые двери, распахивались, показывая обрывки жалкого, теперь навсегда развороченного уюта. Во двориках валялись брошенные впопыхах ненужные вещи. На опустевшем Иванихином дворе одиноко стоял старый пес Зимбер, одно ухо опущено, другое поднято. Будто парень в кепке набекрень и чуб торчит. Когда машина приблизилась, Зимбер бочком-бочком скрылся за домом. Потом, когда утих грохот и улеглась пыль, и в овраге не осталось ничего, кроме куч полусгнивших досок да ломаного кирпича, Зимбер снова появился на берегу речушки Кипятки и долго стоял одиноко, подняв кверху целое ухо, тоскливо оглядывая незнакомый пейзаж своими желтыми, припыленными старостью глазами.

●

Валентин Сорокин





✪

Сквозь стылый шум деревьев и полей
Я слушал ночью крики журавлей.

А ночь была ясна и глубока,
Разбуженные плыли облака.

И голоса росли, росли, росли,
Из-под звезд росли, из-под земли.

Из неба, что синело, как металл,
Где Сириус торжественно блистал!

И в этот миг, наверное, и ты
Их слышала за гранью темноты.

Как чью-то позабытую беду
Иль в океан упавшую звезду.

И по волнам заброшенно, одна
Скользила белой яхтою луна.

О голоса древнебылинных птиц
Над тишиной соборов и гробниц!

Над тысячью людских, заветных троп
И над гербами африк и европ.

Звон журавлей над отчей стороной
И надо мной,
не спящим,
надо мной!..

Туркменская речь

Ах, речь туркменская, не речь —
Она выводит из покоя,
В ней что-то дерзкое, такое,
Чем невозможно пренебречь.

Горда судьба ее и свята,
Дурными ордами не смята,
Не сбита цоканьем копыт —
Она произнила грозный быт.

Как золотой ручей пустынн,
Она сверкает и течет.
И знать ее — большой почет.
Незыблемы ее твердыни!

Да, речь туркменская, не скрою,
И вдохновенна и сочна,
И на устах сынов-героев
Она по-воински звучна.

В ней слезы царств и крик орланов,
Книжала звон,
девичья стать.
Аж на колени Тамерлану
Она приказывала встать!..

✪

Зеленая недвижна глубина,
Весь пруд зарос кувшинкой и осокой,
Русалка, молода и синеока,
Не выплывет навстречу мне со дна.

На берегу крылатится огонь,
Багряная, мерцающая мука,
Костер надежд,
пылает он без звука,
Обжечься хочешь — протяни ладонь...

Костер любви!..
Но так ты далека,
А вечер опускается постыло,
Трава остыла, и земля остыла,
Куда-то заспешили облака.

И луг молчит, и филин не кричит,
И лишь одна, в предчувствии мороза,
Шумит с холма безлюдного береза
И ветками озябшими стучит.

✪

В предчувствии беды иль непогоды
Разрезал ворон марево крылом.
Стройнее сосен высветились годы.
О чем шумят? Наверно, о былом.

Прости меня и разлюби, прошу я,
От самых первых до последних встреч,
Красивую, но столько раз чужую,
Не смог тебя под сердцем уберечь.

Твердеет небо, холодом объято,
Слышней и резче бед моих набат.
За всех виновных ты не виновата,
И я один ни в чем не виноват.

Осенний вечер вырубкой продолжен,
Вдали река и купол без креста.
Нет, никому я совестью не должен,
И жизнь моя, как просека, чиста!

Я ждал тебя, и ревновал, и мучил,
И не давал в обиду никому.
Шумят ветра,
и над землей гремучей
Горит звезда и падает во тьму.

Станислав
КУНЯЕВ



ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЕСЕНИНА

К 80-летию со дня рождения поэта

Сотни книг написаны о нем. Вроде бы и добавить нечего. Но каждый раз, когда я беру в руки томик Есенина, начинаю перелистывать страницы и вглядываться в строки, как будто пережитые насквозь, все равно вдруг останавливаешься на какой-то мысли, порой просто на мелочи и говоришь себе: ну как же я раньше этого не видел! Как же мне раньше это не приходило в голову! Вот я и решил перечитать голубой пятитомник и записать свои мысли, наблюдения, заметки, соблюдая один принцип: фиксировать только то, о чем не задумывался ранее. Словом, сделать для себя какой-то новый шаг в познании поэзии Сергея Есенина...

✪

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

В этом, может быть, первом его стихотворении, которое похоже на весеннюю почку, нераскрывшуюся, упругую, хрустящую, туго набитую генами поэзии, есть уже все, как в зародыше: и любовь к меньшим братьям — клененочек (кстати, Есенин не проводил разницы между деревьями и животными, для него жеребенок и клененочек — братья). Здесь же и его особое пристрастие к клену — дереву редкому все-таки на рязанской земле, особому, в какой-то степени роскошному по сравнению с березами, с ивами, мелколесьем. «Сам себе казался я таким же кленом...» или «оттого, что тот старый клен головой на меня похож».

✪

Матушка в Купальницу по лесу ходила
Босая, с подтыками, по росе бродила.

Это языческая Древняя Русь. А вот Русь христианская:

Я вижу — в просиничном плате,
На легкокрылых облаках,
Идет возлюбленная мати
С пречистым сыном на руках.

В другом месте в книгу вплетается традиция девятнадцатого века с его благородной пушкинской гармонией:

Наверху: Сергей Есенин. Гравюра Ф. Константинова

О возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

А рядом: «мы многое еще не сознаем, питомцы ленинской победы...»

Целые эпохи, пласты и стихии объединились в нем. Хотя Есенин и произнес крылатые слова «лицом к лицу—лица не увидать. Большое видится на расстоянье»,— сам умел разглядеть все большое, что творилось при его жизни, в упор, не дожидаясь никакой временной дистанции. По горячим, буквально дымящимся следам событий написаны «Анна Снегина» и «Кобыльи корабли», «Инония» и «Страна негодяев».

✪

А вот еще две строки, которые заставили меня задуматься:

На бору со звонами плачут глухари,
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

С детства я, чуть ли не каждое лето проводивший на Оке и в калужском бору, знаю, что иволга в дуплах не живет, а вьет гнезда, что крик глухаря похож на костяное, жесткое щелканье, напоминающее удары ногтя по неполной спичечной коробке, и звоны тут совершенно ни при чем. Наверняка знал все это и Есенин. Но что ему первая реальность! Он сам творит свой мир, перекраивает подробности жизни, как ему угодно. А потому, если хочет, то и иволга подает свой голос из дупла, и глухари «плачут со звонами». Недаром же Есенин в одном из писем обмолвился о Клюеве: «Клюев пишет из природы, а надо творить вторую природу».

А что он делает с языком! Открою наугад ну хотя бы стихотворение «Каждый труд благослови, удача!» Уже в первой строфе любитель чистописания споткнется:

Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года...

Конечно, какой-нибудь ревнитель чистоты языка написал бы «добывали» или «доставляли», и, конечно же, возмутился бы странным глагольным оборотом:

Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить...

А уж дойдя до слов «словно кто-то к родине отвык», пришел бы в полный ужас. Но что Есенину литературное правописание и поэтические приличия! Язык для него еще не поэзия, а всего лишь ее материал, всего лишь «первая реальность», с которой он обходится, как имеющий власть. Слова сопротивляются, а он ломает их сопротивление, заставляет стать в строку так, как ему это надо, а не как им хочется. Никому такое не сходит с рук — только гению...

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе,—
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Какое великолепное и живое «косноязычие»!

✪

С чем он только не сравнивает свою драгоценную голову: с яблоком, с золотой розой, с древесной кроной... Для головы он находит самые любимые слова: «Голова ль ты моя удалая», «куст волос золотистый вянет», «головы моей парус»... А сердце? «Глупое сердце, не бейся», «озлобленное сердце», «Слушай, поганое сердце, сердце собачье мое. Я на тебя, как на вора, спрятал в рукав лезвиё...»

С сердцем связано у Есенина все в человеке, что тянет его к гибели, обволакивает разрушающими страстями. Он прямо-таки жаждал докопаться до истоков зла в человеческой натуре. Он боролся с этой гибельностью, носимой в себе, и в то же время любил ее, как все живое. В «Песне о хлебе» поэт скажет:

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого, что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

Чего здесь больше, наивности или прозренья, трудно сказать.

✪

И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Это не декларация. Сравнение человека со зверем у Есенина совсем не имеет уничижительного смысла по отношению к человеку. Просто неправдоподобно, чтобы в двадцатом веке могла существовать душа, столь безошибочно угадывающая неразделимость всего живого в мире! Особенно остро он ощущал эту связь, когда писал «Кобыльи корабли», «Сорокоуста», «Пугачева»...

Звери, звери, приидите ко мне.
В чашки рук моих злобу выплакать!

Именно в то время он пишет в одном из писем: «Трогает меня... только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического...»

А «Пугачев» весь насыщен «скифской стихией», все главнейшие монологи поэмы стоят на ней, как на почве, из которой уже потом произрастает общественная, социальная жизнь. Порой мне кажется, что «Пугачева» понять почти невозможно, что написана поэма чуть ли не до крещения Руси, в каком-нибудь восьмом веке, что чудом в каком-нибудь древнем монастыре сохранился один экземпляр и Есенин переложил его на современный литературный язык:

Слушай, ведь я из простого рода
И сердцем такой же степной дикарь!
Я умею, на сутки и версты не трогаясь,
Слушать бег ветра и твари шаг,
Оттого, что в груди у меня как в берлоге,
Ворочается звереныщем теплым душа...

...Если бы мы могли думать и чувствовать, как Есенин, мы бы не ставили знака равенства между словами «зверь» и «жестокость»...

Наверное, это имел в виду охотник Иван Романович Зарукин; прошлым летом мы сидели в его зимовье на берегу Нижней Тунгуски, и он, прошедший годы фронта, фашистского концлагеря, бежавший оттуда, закончивший войну в Будапеште, в ответ на мои многочисленные расспросы обронил: «Зверь, паря, лишь с голоду закон тайги нарушит, а человек!» — и махнул рукой, как бы говоря: не спрашивай меня больше об этом...

✪

«Пугачев» — поэма и о предательстве. Соратники Пугачева в роковой момент, когда речь идет о жизни и смерти, вдруг заболевают «чувством жизни».

Я хочу жить, жить, жить...
Хоть карманннком, хоть золоторотцем,—

крнчит Буриов.

Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз светнт юиость, как месяц
в родной губерини,—

повторяет за ннм Творогов.

Есть у сердца невзгоды и тайный страх
От кровавых раздоров н стонов.
Мы хотелн б, как прежде, в родных хуторах
Слушать шум тополей н кленов.
Есть у нас роковая зацепка за жизнь,—

вторнт им Крямни.

Фанатнзм и аскетизм Пугачева, ради своей идеи влезшего в чужое имя, как «в гроб смердящий», натыкается на эту роковую «зацепку за жизнь». Но почему же она роковая? Виднмо, потому, что для того, чтобы выжнть, им надо предать Емельяна, предать свою юность, свое дело — словом, весь мир прошлых и уже осуществленных действнй, мыслей н чувств.

...Емельян в последнем монологе повторяет все слова, сказанные его друзьями-предателямн: «юность», «черемуха», «месяц», «степная провинция». Ои выше своих соратнков: вндио, что ои поинмает их, что общая часть души у них остается — недаром оии для него по-прежнему «дорогие... хорошие...». Но в отличне от них он не может купить себе жизнь цеиой отказа от самого себя. Он предпочитает гнбель. Для того, чтобы жить, иужно изменнть самому себе, но, изменив самому себе, жить невозможно.

✪

Однажды весьма известный современный позт, в прошлом один из моих наставннков, сказал о Есенние, что «он гениально выразил все предрассудки нацнн». А что же тогда является ее разумом? И нет ли в поззни нечто большего, чем «разум и предрассудки»? К тому же, как некогда напнсал Баратынский, предрассудок — это «обломок давней правды».

Сколько всяких современников перечислено в фамильиом указателе к пятнтомнику Есенина, а Северяннна почти не вспоминал. Видимо, ие любил. Только в письме из Бельгии упомянул, что «здесь такая тоска, такая бездариейшая «северянщина» жизни, что просто хочется послать зто все к энтой матери». Однако, думаю, что не будь Северянина, не было бы у Есенина нескольких слов нлн даже строчек:

Чтобы пчелиным голосом
Озлатоинвнть мрак,
Я нду долиной. На затылке кепн.
в лайковой перчатке смуглая рука.

А вот еще несколько северянинских слов: «и тебя блаженством ошафраннт», «я отвечу: «добрый вечер, miss».

А что такое Северяннн по сравиению с Есениным?!

✪

Есть в его стихах две «цнтаты» из Пушкнна. Очень важные. Онн появляются там, где речь идет о судьбах России:

Ревел и выл
октябрь, как зверь...
Железная витала тень
Над омраченым Петроградом.

Учусь постнгнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Обе «цитаты» нз «Медиого всадника»: «иад омраченым Петроградом дышал иоябрь осенним хладом» и «на высоте уздой железной Россию поднял иа дыбы».

✪

«Россия — страшный чудный звои...» — это инточка к Гоголю, которого он в автобиографиях называл любимейшнм пнсателем: «Чудиым звоиом заливается колокольчик; гремнт и становится ветром разорванный в куски воздух...»

✪

Не будем упрощать одио нз самых мощных чувств Есенина — любовь к родине. Оиа была несколько сложией, чем написано об этом в популярных очерках:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не иадо рая,
Дайте родину мою».

Это сказано в 1914 году.

«Устал я жнть в родиом краю» (1915—1916).

А затем словно бы нарочито чередуя любовь с ненавнстью, позт пншет:

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку,—
Люблю до радостн н боли
Твою озерную тоску.

В апреле 1917 года в стнхотворенин «О, родииа!» он полои уже нным чувством:

И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклнняю
За то, что ты мне мать.

Как тут не вспомнить блоковское «О, Русь моя! Жена моя!»

1917 год—«Звени, звени, златая Русь...» и рядом, в «Сельском часослове» — «гибин, край мой! Гибни, Русь моя...». В 1918 году в «Иорданской голубице» Есенни расшифрует зто чувство:

Ради вселенского
Братства людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей.

Но радость по поводу «вселенского братства» была недолгой. Видимо, жертвы показались ему слншком велики. Стихи двадцатого года выражают иное, угрюмое и тяжкое состоянне...

А через несколько лет, прозревая ииые пути, Есенни уже по-иовому говорит о родиие:

Но и все же хочу я стальною
Видеть бедиую, инщую Русь.

В двадцать пятом году ои словно бы подводит окончательные итогн:

Радуясь, свирепствуя н мучась,
Хорошо живется иа Руси.

Пусть молодые читатели «Юиости» подумают об зтих внешие противоречивых путях страстей, почувствуют их едниство, разберутся, что тут прннадлежнт Есеннну, что великой русской традиции любви, завещаниой нам Пушкиным и отчеканенной Блоком:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

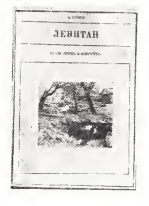














ЧТОБЫ ЭПОХА ЗАПЕЧАТЛЕЛАСЬ

Сорок без малого лет назад Александр Бек выехал по заданию издательства в Донбасс — писать повесть о доменщиках Коробовых.

Повесть эта, по мнению Бека, не была написана. О том, что писатель «не осилил огромного материала», читатель узнал только в наши дни из романа-записок А. Бека «На своем веку», вышедшего отдельной книгой уже после смерти писателя. (Изд-во «Советский писатель», 1975.)

Роман этот — и свидетельство высокой творческой требовательности, законы которой сам писатель над собою поставил, и доказательство завидной силы его таланта, и, самое, пожалуй, главное — живое и горячее, воистину художественное воплощение эпохи.

Эти цели ставил перед собой автор («Эпоха! Эпоха! Надо, чтобы она запечатлелась!»), и этих целей он достиг и в очерковых заметках, и в личных письмах, и в законченных прозаических отрывках, и в черновых набросках, соединившихся вместе в удивительном, ни на что Беком ранее написанное не похожем романе.

И патриарх династии металлургов Коробовых Иван Григорьевич, и его сыновья, молодые тогда руководители советской промышленности, и Серго Орджоникидзе, чья энергия, воля, преданность великому делу, а кроме того, человеческая теплота, понимание исключительной, неповторимой ценности каждого человека «в сплошной лихорадке буден» обрисованы автором выразительно.

Люди эти отделены от нас сорока годами, их время — уже история, однако было бы неверно сводить книгу Бека к историческому репортажу о некоторых событиях тридцатых годов.

Кстати, будь эта книга и на самом деле только документальной записью пережитого страной сорок лет назад, она и тогда имела бы для нас огромную ценность. Но то, что написано Беком, глубже: он показал сотворение временем нового человека, неутолимо вбирающего в себя все знания, накопленные человечеством, мыслящего о будущем, непримиримого к косности, застою и неподвижности.

Записки Александра Бека так и не оформились в завершенный по всем правилам привычной словесности жанр романа. Но эти внешне разрозненные отрывки, написанные пером, не терпящим фальши, сильным и точным, способным и на скупой лиризм, и на мягкую иронию, и на психологическую глубину, останутся в читательском сознании вполне законченной книгой.

Правда эпохи озарила ее страницы так же, как зарево плавок — донецкие степи, и отсвет этого зарева благодаря таланту Александра Бека видится и в славных делах наших дней.

С. ГРАВИН

ГЕРОИЧЕСКИЕ БЫЛИ

В издательстве «Детская литература», в серии «Слава солдатская», вышла книга Ильи Вергасова «Героические были из жизни крымских партизан». Автор, бывший начальник штаба партизанского соединения, потом командир партизанского района в Крыму, известен своими произведениями для взрослого читателя. В новой книге он показал умение писать и для детей — просто, увлекательно и так же честно про трудное, тяжелое время партизанской войны в тылу фашистских войск. Вергасов любит героические характеры и удивительно хорошо о них пишет. Без нажима и громких фраз. Но так, что юный читатель ни на минуту не поколеблется в своем чувстве восторженного уважения к ним. Герои былей не вымышленные персонажи, с ними писатель мерз, голодал, карабкался по выжженным зноем скалам и делился последним сухарем, знает их в лицо, видел их в бою, хоронил после боя... Нельзя забыть румына, «Товарища Тома», перешедшего на сторону партизан, молодого отважного летчика «Филиппа Филипповича», колоритного «диверсанта-одиночку» из одноименных новелл. Книга читается как цельное произведение, хотя состоит из отдельных миниатюр, посвященных какому-нибудь новому для повествования лицу. Но и старые персонажи не уходят из новой новеллы — они из главных героев просто становятся «фоном».

Илья Вергасов (об этом пишет и автор предисловия Григорий Бакланов) — человек большого такта и скромности. Он рассказывает о товарищах, оставляя в тени себя. Настоящий интернационалист, Вергасов добрым словом поминает всех, кто бесстрашно сражался с фашистами в партизанских горах. Умение делать дело — будь это даже такое особое «дело», как война! — оценено Вергасовым истинной мерой — мерой понимания народности Великой Отечественной войны. Величие духа показал весь народ, не отдельные исключительные личности. В этом пафос книги Ильи Вергасова, которую я рекомендую юному читателю.

Владимир ОГНЕВ



Виктор Коротаев



Природа

Рябины млели у колодца,
Звенел кузнечиковый луг,
Блаженно жмурились на солнце
Фиалки юные.
И вдруг
Легла трава,
Взметнулись воды,
Напился гневом небосвод...
Как будто вдруг
В душе природы
Произошел переворот.
Но скоро вновь она запела,
С лица сошла, растаяв, мгла:
Мгновенно, видимо, вскипела
И так же быстро отошла.
Не потрясла основ эпохи,
А все ж напомнила о том,
Что с ней бывают шутки плохи
И лучше ладить с ней добром.

✪

Луна замерла над рекой,
Росинка застыла на жести...
Над миром глубокий покой.
Так что же душа не на месте!
Тепла и удобна кровать,
Не скрипнет нигде половица.
Так что же, так что же опять
Нам лунною ночью не спится!
Как будто налажена жизнь,
Устроена всякая малость,
И страсти давно улеглись,
И чувства давно устоялись.
Зачем же опять, как на грех,
Прошедшим и воды и трубы,
Нам слышится девичий смех
И светятся девичьи губы!

✪

Роса лежит на озими,
Туманна и легка,
И первыми морозами
Не пугана пока.
И под случайным солнышком
Среди остывших вод
Какой-то пароходишко
Нет-нет да промелькнет.
Все круче ветры встречные
В приречной полосе,
И в роще птицы певчие
Замолкли,
Да не все.
И с грустною улыбкою
Я думаю опять,
Как это время зыбкое
Подольше удержать.

Лев Ошанин



«Назым Хикмет»

Тепло и тесно на родной планете.
Бомбейский рейд. На катере скользим...
Как Маяковский с «Теодором Нетте»,
Я снова встретился с тобой, «Назым».
Как в жизни ты, лихая голова,
Сквозь штиль и шторм торопишься
упрямо —
Одесса, Куба, Африка, Панама,
Японские сквозные острова...
Что в Индию привез! Что посылает
Земля моя с тобою, наш посол!
Что увезешь отсюда: сталь Бхилаи,
Калькуттский чай, чтобы украсить стол!

Как посоветоваться было б кстати,
И сколько накопилось новостей...
Вот обороты сбрасывает катер,
И я кричу:
— Назым, встречай гостей!

✪

Взгляну в глаза твои русалочьи,
Коснусь сияющих волос.
Зажгу сандаловые палочки,
Те, что из Индии привез.
Речь оборву на первой фразе я;
Что сказано — уже мертво...
И встанут Африка и Азия
У изголовья твоего.

ДОБРИН ДОБРЕВ ЕДЕТ В СИБИРЬ



Здровствуй, дорогоя редокция!

Мое имя Добрин Добрев.

Мне 27 лет. Оброзовоние среднетехническое.

Когдо зодумывоюсь о жизни, неизбежно остонавливоюсь но одной истине: кок многим обязоно моя родино и весь мир советскому нороду, чья душо широко, кок его строно. Именно роди этой истины я нописол это письмо. И мне хочется в честь Великой Октябрьской революции, кроме моей любви к советскому нороду, кроме моего преклонения перед тысячоми русских боготырей, повших зо свободу моей родины, остовить но советской земле что-то, сделонное моими рукоми. Хоть совсем-совсем немного.

Я желою один год роботать возле Енисея или Лены кок строительный робочий. Деньги, которые я смогу зоробототь, я вложу в постройку кокого-нибудь детского содо в Ленингроде. Почему возле Енисея или Лены? Потому, что суровость меня привлекоет. Я уже роботол в северных условиях в Коми АССР, возле реки Мезень. Но теперь хочу возле Енисея или Лены. Почему но детский сод? Потому, что дети — это чистото, родость, счостье и надеждо. Почему в Ленингроде? Потому что с выстрелом «Авроры» ночолось новоя эра в мире.

Дорогоя редокция, я уверен, что вы мне посодействуетс и скоро буду возле Енисея или Лены кок строительный рабочий.

Добрин Ангелов Добрев.

Письмо хорошего человека всегда доставляет радость, о чем бы этот человек ни писал.

Добрин Добрев не совсем правильно пишет по-русски, но его мысли и чувства понятны, ибо, если ты хочешь сделать доброе дело на благо страны, которую любишь, твое желание и без перевода будет понятно, на каком бы языке оно ни было высказано.

Редакция обратилась в ЦК ВЛКСМ с просьбой помочь Добрину Добреву поехать на БАМ — одну из важнейших строек нашей страны.

В штабе студенческих строительных отрядов мы встретили прилетевшего на два дня в Москву с БАМа командира интернационального студенческого отряда «Дружба», аспиранта Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Геннадия Лукичева и, воспользовавшись случаем, показали ему письмо из Болгарии.

— Я уверен,— сказал Геннадий,— что Добрин поддержит добрую славу своих земляков — студентов из Болгарии, работавших на БАМе в составе интеротряда «Дружба». Об их работе я могу сказать самые лучшие слова. Двадцать восемь болгарских ребят и девушек продемонстрировали присущее им чувство интернационализма, добились очень высоких трудовых показателей. За два месяца наш отряд освоил семьсот пятьдесят тысяч рублей капиталовложений. В том, что мы смогли это сделать, немалая заслуга и болгарских ребят.

Великолепно работал бригадир Крастимир Георгиев, комсорг Таия Доброва и все остальные. Хочется сказать и о Лоре Григоровой, которая была удостоена высокой чести поднять флаг на открытии лагеря. Жизнерадостная и общительная, она прекрасно делала все — и работала, и пела, и танцевала. И вообще самодеятельность болгарских ребят надолго запомнится всем, кто видел и слышал их выступления, когда мы проводили национальный день Болгарии. Есть у нас такая традиция — проводить национальные дни всех социалистических стран, чьи посланцы работали на БАМе.

Я хочу сказать Добрину, что встретят его очень хорошо, как встретили всех нас. Работа у него будет интересная, и люди здесь замечательные. Конечно, трудностей на БАМе хватает. И климат суровый: солнце зайдет за тучку — холод, выйдет — жара; и комфорт не всегда поспевает, так как людей приезжает много и иногда, пока достроят дом, приходится пожить в палатке.

И пусть не смущает Добрина то, что вклад его в строительство БАМа будет всего лишь небольшой частицей нашего общего труда. Главное в том, почему он приехал туда работать. Это нам дороже всего...

К словам Геннадия Лукичева остается только добавить, что просьбу Добрина Добрева ЦК ВЛКСМ выполнил. Добрин будет работать на строительстве Байкало-Амурской магистрали.



Лариса
ИСАРОВА

СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ

Невыдуманные истории

Рисунки
А. ЧЕРНОВА.

Через год после очередного выпуска ко мне зашла Даша Мещерская. Она училась в медицинском и у нас бывала довольно часто. Она считала меня и моего мужа «виновниками» избранной ею профессии. Хотя вышло все нечаянно. Однажды я предложила ребятам десятого класса посетить операционную, где работал мой муж. В клинике не хватало санитарок, и там искали энтузиастов медицины. Среди семерых любопытствующих оказалась и Мещерская. Потом Даша прекрасно сдала экзамены в мединститут и пришла в эту клинику санитаркой на полставки, «на ночные часы». Мне она объяснила, что решила учиться и работать «для независимости». Дашин отец был известным профессором.

В этот вечер Даша казалась особенно молчаливой и сосредоточенной. Она рассеянно пила чай, рассеянно листала журнал «Экспериментальная хирургия и анестезиология» и, только одевшись, уже в дверях вдруг сказала дрогнувшим голосом:

— Я несколько дней собираюсь сказать... В общем, Соколов умер...

Я не сразу ее поняла, не сразу сообразила, какой Соколов. Потом растерялась, на секунду решила: может быть, розыгрыш?! Соколов, один из самых сильных мальчиков класса, шутя сгибавший пальцами пятаки?

— Как умер? — спросила я почти спокойно, я все не могла поверить.

Она теребила ручку сумки, словно это помогало ей сохранять выдержку.

— На лыжах катался в воскресенье, прыгал с трамплина в Крылатском, ударился головой...

— И сразу погиб?

— Он пошел домой, утром только пожаловался матери, что болит голова. А потом на заводе, в цеху потерял сознание. Его на «скорой» — в больницу, в обычную больницу. Никто из ребят меня не разыскал, не известил.

Она сморщила лицо, точно собираясь заплакать, но в последнюю секунду удержалась; она всегда умела себя пересиливать, как бы ей ни было тяжело. Эта девочка никогда не плакала на людях.

— Самое дикое, что это была мозговая травма, ну, по нашему отделению. Надо было немедленно оперировать при такой обширной гематоме, а в той больнице пока разобрались, пока вызвали консультанта...

Она с силой ударила кулаком по стене, точно хотела физической болью заглушить другую, более мучительную...

— Нелепо, просто не верю... Вот закрою глаза — и вижу его.

— Ты его любила? — задала я вопрос, который так и не решилась задать два года назад.

Мещерская недоуменно посмотрела на меня, точно просыпаясь.

— Не знаю. Я до сих пор помню каждую встречу, каждое слово... Но вот скажите, разве я была не права, что порвала с ним?

Я молчала. Раньше-то я была полностью на ее стороне, а сейчас вдруг все, из-за чего они ссорились, осветилось иным светом. Или это от потрясения?! Даже свой голос я слышала точно со стороны, словно меня завернули в вату...

— Не вернется! И если бы хоть ради дела погиб, ради идеи, ради другого человека...

Лицо Даши казалось застывшим, постаревшим. Хотя она, единственная из девочек нашего класса, почти не изменилась после окончания школы. Она не срезала длинные волосы и носила их низким узлом

на затылке, она не пользовалась косметикой, не следила за модой. На ней была строгая кофточка собственной вязки. У нее была теория, что девушка должна одеваться своими руками и в смысле заработка и в смысле исполнения.

— Когда похороны?

— Уже были. Его мать никого не хотела из школы звать, и отец согласился. Хоть в этом договорились...

Долго после ее ухода я сидела, странно обессилев. Мне не хотелось убирать, готовить, вязать. Я чувствовала, что никакие привычные домашние дела сейчас не успокоят меня. Соколов упрямо вошел в комнату, беловолосый Соколов, похожий на Ивана-царевича с палехских шкатулок. Вошел, чтобы довести до конца наш так и не состоявшийся разговор...

В то яркое морозное утро я шла в школу и вдруг увидела идущую мне навстречу пару. Высокий, слегка сутулящийся парень в замшевой куртке и девочка, висевшая на его руке. Она казалась совсем маленькой в своей мальчишеской шапке со спущенными ушами, она что-то щебетала, поглядывая на него снизу вверх. И вдруг он резко выдернул свою руку и с силой толкнул девочку.

Я замерла на месте. Это было дико, неожиданно, нелепо. А он двинулся мне навстречу с таким видом, точно ничего не произошло, даже глаз не опустил. Девочка только секунды две оставалась сзади. На ее лице ничего не отразилось, ни гнева, ни возмущения. Она бросилась за ним вдогонку. Потом ловко подравняла с ним свои шаги, виновато улыбнулась, схватила под руку, и они пошли дальше вместе, точно ничего не произошло.

Наверное, нехорошо быть учителю импульсивным человеком, но я не могла промолчать об этой сцене, когда пришла в класс. Я рассказала и ждала реакции ребят.

Сначала высказались мальчики, коротко и пренебрежительно.

— Да, сейчас гордых девчонок нет...— томно вздохнул Куров.

— На нее хоть ногой наступи, еще спасибо скажет!

Ланщиков завел из своего любимого репертуара, он считал себя неотразимым для любого создания женского пола...

— Если бы девочки себя больше ценили, с ними бы так не обращались,—резонно и чуть наставительно сообщил для всеобщего сведения Зоткин, «без пяти минут профессор», как называла его ехидная Ветрова.

И тут сзади раздался тонкий голосок Маруси Комовой:

— Но если она его любит...

Она не спрашивала, она полуутверждала, точно это магическое для шестнадцатилетних девочек слово оправдывало все сложности жизни.

— А что было дальше? — поинтересовалась Ветрова, комсорг, самая любопытная в классе. Она никогда не могла прочитать книгу, не заглянув сразу на последнюю страницу. От нетерпения, а вовсе не из-за страсти к хорошему концу...

— Не знаю... Считайте, что это кадр, выхваченный из кинофильма.

В классе шелестели шепотки, но никто не высказывался. И я не почувствовала у девочек того возмущения, на которое рассчитывала. Неужели я так устарела, неужели все это для них было в порядке вещей?

И тогда я написала на доске тему нового классного сочинения — «О девичьей гордости и мужской чести».

Я предупредила, что можно писать и на первую половину темы, и на вторую, и на обе вместе. Единственное условие — никаких литературных примеров.

В классе заохали. Девятиклассники уже смирились с моими фантазиями, но каждый раз неожиданная тема на несколько минут выводила их из равновесия. Потом Ветрова, постоянный классный глашатай, пошептавшись с женской половиной класса, подняла руку и попросила не торопить, если кто не уложится в два часа. Она поклялась, что после уроков все сочинения будут сданы. И еще просила не снижать отметки тем, кто вылезет за обычный наш объем в четыре страницы. «Уж больно тема волнующая!»

Мальчики хихикали, но я видела, что их эта тема увлекла, и вечером я азартно листала тетради. Одна работа интересней другой.

«Девичья гордость заключается в том, что они не бегут за первым встречным, а если и познакомятся с мужчиной, то сначала узнают, что он за человек, а вовсе не просто задирают нос...»

Я сразу точно увидела маленького прихрамывающего Бахметьева, игравшего на трубе в музыкальной школе. Ему необыкновенно трудно давалась литература, но он упорно воевал и с ней и со мной, добиваясь четверок...

«Молодая чета жила весело, пока Петр Фомич не влюбился в секретаршу. Жена узнала, решила от него уйти. Муж понял, что нелепо любить секретаршу, когда есть бесплатно законная жена. Он стал ее просить остаться, но она уехала к матери. А разве нельзя было простить мужа? Гордость, конечно, нужна, но иногда ее надо в себе подавить, чтобы не портить другому жизнь...»

Широкий неопрятный почерк Медовкина, мальчика с лицом римского гладиатора и тугими темно-красными локонами. Он был бы очень красив, если бы не рост. Он казался пятиклассником среди девятиклассников и поэтому держался очень развязно.

А уж это, конечно, перлы моего Барсова, двухметрового роста младенца, который был, по мнению класса, моим официальным любимчиком. «Все-таки жаль, что дуэль вышла из моды. Я, конечно, не за то, чтобы убивать насмерть на дуэли. Но пусть на пистолетах, пусть на кулачках, пусть хотя бы словесная дуэль, но лучше бы они были. А то кому нужна мужская честь, если ее негде отстаивать?!»

Потом мне попалась толстая тетрадь в черном переплете, я начала ее читать и больше уже ничем в тот вечер не занималась. Именно тогда я впервые узнала об отношениях Мещерской и Соколова.

«Это произошло в конце августа,— писала Мещерская своим четким почерком без единой завитушки.— Вдоль нашего шоссе растут тополя, и я часто там гуляла. В тот вечер я бродила, как обычно, когда меня нагнали три парня. Я не испугалась, было еще светло, но вдруг один из них схватил меня за руку. Я оглянулась и поняла, что они пьяные, что им море по колено. Они были очень похожи на бродячих псов, которые увидели ничейную кость. Только псы всегда симпатичны, а у этих парней были красные тупые лица.

— Трое на одну, рыцари! — сказала я. Я еще не испугалась, я не верила, что девушку можно обидеть.

— Еще и выставляется! — заорал тот, что схватил меня за руку, и рывком повернул к себе, пытаясь обнять.

Я дала ему пощечину, я никому не позволяла до себя дотрагиваться руками, даже в шутку, я считаю это унижением для девушки.

— Ах, мадмуазель-недотрога! — засмеялся самый высокий и скомандовал дружкам: — Держите за руки эту дикую кошку, я ее сейчас поцелую!

Никого поблизости не было. Они стал ловить меня, точно курицу. Высокий даже приговаривал: «Цыпцып-цып». Я металась, но тут на шоссе показалась легковая машина, я рванулась к ней, но не рассчитала и чуть не угодила под колеса. Меня буквально вытолкнул из-под них тот парень, что собирался меня поцеловать.

— Сдурела? — спросил он, и тут я в упор посмотрела на него. Вид у меня, вероятно, был дикий, шпильки вылетели, волосы распустились, но я так его ненавидела, что слова сказать не могла.

А он вдруг как остолбенел. Дружки его толкали, дергали, а он молчал и глазами хлопал, и все смотрел на меня, будто мы в «мигалки» играем. Потом он что-то сказал своим приятелям, они захихикали и ушли, а он предложил меня проводить. Я, конечно, отказалась, но он поплелся за мной, как побитый, и все спрашивал, как меня зовут.

Я отмалчивалась, а возле своего подъезда сказала, что уличных знакомств не завожу, а тем более — с пьяницами. Но через несколько дней я увидела его в нашем дворе, потом еще раз, потом он уже знал, как меня зовут, где я учусь... И если бы не его поведение там, на шоссе, он бы мне даже понравился. Уж очень заметным, необычным был контраст между белыми волосами, черными бровями и синими глазами... Но хотя мне раньше никогда не правились красивые парни — они все оказывались глупыми, точно на подбор,— но этого мне захотелось узнать поближе. Может быть, тогда он случайно оказался с теми парнями?!

В общем, мы познакомились, он пришел к нам домой. И меня поразило, что он остался равнодушен к нашим картинам, книгам. У нас на стенах почти нет свободного места, дедушка был художником, а папа так любит книги, что мы иногда даже без обеда остаемся. Питаемся кашами из геркулеса. Мама никогда с ним не спорит, даже когда он за двести пятьдесят рублей купил кодексы законов Петра Первого...

Мы пили чай, мама расспрашивала Виталия о книгах, а он хмыкал и пожимал плечами. И все поняли, что он мало читал, главным образом детективы, да и то плохие. Ни одного западного писателя он не знал и даже не слышал о мастерах детектива Агате Кристи и Сименоне.

После его ухода мама вздохнула и стала говорить, что дружба — великая вещь, но разность интеллектов оборачивается порой трагедией, хотя она всегда уважала чужие вкусы... А папа добавил, что нынче народничество не в моде, что этот парень на несколько порядков ниже меня духовно, а это необратимо...

А через несколько дней, когда Виталий за мной зашел, чтобы идти в кино, от него пахло спиртным. Я очень возмутилась, я сказала, что никогда с пьяными не ходила и не пойду, и он ушел удивленный. Видимо, никто из девочек раньше ему этого не говорил. На другой день, когда он ждал меня на углу возле школы (он часто меня провожал домой), я сказала, что больше всего на свете ненавижу пьяниц, что они нéлюди и что я прошу его дать мне слово бросить пить.

Он пообещал и ко мне в таком состоянии не приходил, но как-то на улице издали я его снова увидела с теми же дружками, что были на шоссе.

Я страшно обозлилась. Я привыкла, что слово мужчины — это слово, особенно если оно дано женщине. Так вел себя мой отец. И я не поздоровалась с Виталием, не отвечала долго на все его уверения, что это в последний раз, что он просто смалодушничал, что пить не любит, а не может нарушить правила компании... Потом он перешёл в наш класс из своей школы. Он сказал, что рядом со мной ему будет легче держать себя в руках. И предложил, чтобы никто не знал о нашей дружбе. Не потому, что он ее стыдился, а чтобы меня не стыдить. А ведь я чуть сквозь землю не провалилась, когда он первый раз отвечал по литературе, хуже третьеклассника. Он дал мне слово начать всерьез заниматься, догнать наш класс по всем предметам, чтобы я могла им гордиться. Потому что пока ему хвастать нечем, разве что первым юношеским разрядом по боксу...

Но и этого он не выполнил. От лени. Он сам мне признавался, что любит часами валяться на диване и слушать магнитофон с дурацкой музыкой. Или бродить по улицам с дружками, просто так, без цели, не узнавая ничего нового, ни к чему не стремясь...

Как же можно на него положиться в серьезном, если он так безволен в мелочах?..

Я очень прошу, не читая моего сочинения вслух, поговорить об этом в классе, когда будете разбирать другие работы».

Из сочинения Мещерской я не сразу поняла, о ком она писала. В классе было несколько светловолосых мальчиков, перешедших к нам в середине года. А по имени я их всех еще не знала. Но почему-то я решила, что речь шла о Соколове. Может быть, потому, что он был самым заметным?! Он сидел на первой парте, синеглазый, с пробивающимися белыми усиками и черными бровями и очень иронически слушал мои лекции.

Я долго его не спрашивала, он попросил месячной отсрочки, «чтобы лучше войти в курс дела». Он меня заверил, что по литературе всегда имел четверки, и поэтому меня безмерно удивило его сочинение на тему «Трагедия «маленького человека» в романе «Преступление и наказание» Достоевского».

Написано было следующее:

«Шел я густым лесом, вокруг извивались лианы, ухали совы, под ногами чмокала земля, жидкая от грязи. Я не мог понять, день или ночь, я не знал, где север, где юг, я все время видел вдали то леших, то бабу-ягу на помеле, то ковылял неподалеку грязный медведь — в общем, в лесу было не скучно. Наконец, кривая вывезла меня на полянку. Стоял там дом на курьих ножках с надписью «Библиотека», а перед ней — частокол отравленных копий. Они торчали из земли, как зубы, и я смело ринулся на них. У меня не было другого пути, надо было обязательно проникнуть в библиотеку, чтобы добыть роман Достоевского, иначе мне грозила двойка, а это было пострашнее даже бабы-яги. Оставляя куски тренировочного костюма и собственной кожи, я ворвался, преодолев полосу препятствий, в избушку и увидел плакат: «Роман Достоевского «Преступление и наказание» на руках у Бегемота. И так мне стало обидно, что я проснулся».

— Что же вы все-таки читали у Достоевского? — спросила я, ознакомившись с «сочинением».

— «Скверный анекдот»!

В классе раздались смешки, многие расценивали его ответ как блестящую остроту. А он повернулся к классу и крикнул:

— Ой и серость! Не знают, что есть у Достоевского такая повестушка...

Тогда я сказала, что подобных знаний по Достоевскому мне маловато, что «Скверный анекдот» не повесть, а рассказ и что сочинение Соколова напоминает мне огромный подъезд к невыстроенному зданию. Входишь и сразу снова оказываешься на улице.



— Не надо двойки! — проникновенно попросил Соколов глубоким баритоном.— Мы же взрослые люди. Факир был пьян, и шутка не удалась, но я исправлюсь...

Он так просительно-лукаво мне улыбнулся, что я смалодушничала и двойку не поставила—все же в его «опусе» проглядывала хоть ирония... Но и второе его сочинение — рецензия на телевизионные спектакли — оказалось снова «не в жилу»:

Все мутно, как в тумане,
В телевизоре моем,
Его крутил я часто
И вечером и днем.
Теперь хожу к соседям
Смотреть у них кино,
Но и у них не лучше
Работает оно
А потому про фильму
Я не могу писать,
Нет у меня условий,
Чтоб сей предмет узнать.

Соколов крайне удивился, увидев после этой работы в журнале двойку.

— За что? — широко раскрыл он ярко-синие глаза, которые становились совершенно прозрачными, когда он врал или придуривался.

— За графоманию.

— Это что — вроде болезни?

— Почти. К следующему уроку загляните в словарь и сделайте сообщение на тему «Что такое графомания?». Многим доморощенным поэтам будет полезно.

Соколов не обиделся, он все время старался подчеркнуть, что между взрослыми людьми такие беседы нормальны, но для подобной независимости ему не хватало эрудиции.

Однако я не теряла надежды, что он может отвечать интересно, пока он не попросил поручить ему подготовить доклад по «Тихому Дону». Всех потряс примитивизм его рассказа. По простоте душевной он взял учебник десятого класса и списал страницы, посвященные разбору романа, а потом занудно пробубнил их вслух.

Я терпеливо дослушала все до конца и сказала твердо:

— На этот раз — новая двойка, самая полновесная. Нельзя считать и учителей и товарищей глупее себя.

Соколов пребывал в глубокой задумчивости до звонка, а на перемене спросил бархатным баритоном:

— А если аванс? В смысле четверки в четверти?

Он уловил на моем лице возмущение и успокоил:

— Не волнуйтесь, на «трояк» я отвечу еще, но «трояка» мне будет маловато... Честное слово, отработаю, не в этом году, так в следующем. Хотите, поклянусь?

— Лучше отрабатывайте тройку сейчас, пока еще не конец года...

Соколов вздохнул, его пушистые усики заблестели на солнце.

— Лень! На улице весна, птички поют... А четверка мне просто необходима, для нормального самочувствия. Не совсем же я кретин, как вы считаете?!

Я полистала журнал.

— У вас и по другим предметам тройки.

— По точным наукам — это не считается! Не все должны иметь математическую шишку, а вот литература, история — тут мне не отвертеться от выволочки...

Его густые светлые волосы падали на лоб беспорядочными прядями разной длины и почему-то напоминали мне соломенные крыши украинских мазанок.

— Нет, Соколов,— теперь я устояла перед его плутовской улыбкой,— аванса не будет, оценка не брюки, которые шьются навырост. Вы мало читаете, речь ваша упрощена, литературу вы знаете только по учебнику...

Он вздохнул, помрачнел и удалился бесшумной походкой.

В стопке сочинений «О девичьей гордости и мужской чести» его работы не оказалось. Я вспомнила, что он отсутствовал в этот день, а позже, когда мы с ним встретились, он заявил, что на подобную тему писать отказывается.

— Почему так категорически, если не секрет?

Мы разговаривали после уроков в пустом классе, но он держался непринужденно, точно выступал перед многочисленной аудиторией.

— Надоело острить, да и не верю я в эти словеса, навязли они мне вот досюда...

Он энергично провел ребром ладони по шее.

— Вот у меня есть кореш, на два года старше. Девчонок у него навалом, через не хочу вешаются. А он все мечтает одну-разъединственную встретить, просто психический. Где взять? Теперь такого качества товара не найдешь, одна всюду синтетика...

Он презрительно смотрел в окно на выходивших из школы девчонок, точно перелистывал страницы надоевшей до оскомины книги.

— Скучно, а если и попадется что-то стоящее, так сразу же лезет воспитывать.

Странное чувство у меня вызывал этот мальчик. Он был красив, по-своему ироничен, он пытался о многом судить самостоятельно, но за всем не ощущалось ни настоящего интеллекта, ни таланта, одни претензии, как в каждом его сочинении.

— О какой же девочке вы мечтаете?

Соколов слегка оживился и посмотрел на меня более заинтересованно, чем обычно. Точно понадеялся, что нужная ему представительница женского пола есть у меня про запас.

— Чтоб не ломалась, не читала проповеди, не декламировала о «девичьей гордости», чтоб, как познакомились, взяла за руку — и на всю жизнь, без расчета, условий, фокусов...

Что-то очень детское на секунду мелькнуло в этом избалованном девочками юнце, и тут же на его лице заиграла иронически скучающая гримаса, словно он вспомнил обязательные правила игры.

— А вам не кажется, Соколов,— сказала я жестко,— что для такого всепоглощающего чувства мало смазливой внешности, надо что-то собою представлять как личность? Ведь с неба любовь не валится на кого попало.

Он очень растерялся, обиделся, но его необыкновенно яркие губы скривились в многоопытную усмешку.

— Все девчонки одинаковы, им только показуха нужна...

— Поэтическое чувство к девушке — лучшая защита от грязи и цинизма, говорили классики.

Соколов как-то по-стариковски засмеялся и перебил меня:

— Поэтическое чувство, а где это нынче водится?

В класс заглянула Ветрова, покашляла. Я совсем забыла, что она ждала меня. Мы собирались с ней посмотреть материалы для очередного номера нашего литературного журнала.

— Входи, мы уже закончили,— сказала я, но Соколов и не думал уходить. Он заглядывал нам через плечо, иронически комментировал заметки, и я не выдержала:

— Вы бы сами написали...

— Да разве его что-нибудь интересует всерьез?! — возмутилась Ветрова.— Только любовные дела на уме да книжки читает дурацкие, еще бабушкины. Одна «Ключи счастья» называется, я ее видела...

На другой день он все же принес мне сочинение на вольную тему, назвав его «О гордости, чести и прочей чепухе».

«Напишу не о себе, о своих родителях, ведь яблочко от яблочка и т. д. Мамаша у меня жутко гордая, от гордости папашу поедом ела, что не умел жизнь устраивать, как другие. А папаша честь мужскую превыше всего ставил, никогда с мастером не выпивал из принципа, предпочитал соображать на троих с уличными забулдыгами. Вот и получал по наряду шиш. Ну, долго ли, коротко, только стали они разводиться, любовь врозь, и черепки врозь. И стали они нас, детей, делить. Мамаша против папаши настраивает, а папаша от переживаний другую заимел, тут уж мы совсем лишние с сестренкой оказались.

Сестренка еще мала, притерпелась, а мне каково? Без отца с гордой мамашей? И вот я все думаю: какое они имели право на нас наплевать? На живых людей, которых народили? Гордость, честь — все это выдумки, чтобы свою подлость оправдывать. Вот пришел я к отцу, а он мне десятку сует, откупается, а в душе его места для меня нет, ненужный сын от нелюбимой жены...



Нет, не верю я в эти сказочки — гордость, честь! И знаю, что, когда женюсь, наверное, буду таким же скотом, яблочко от яблочка и т. д.

Если вы со мной не согласны, можно поспорить, только не в классе, конечно. Я не против личной беседы...»

Это сочинение вызвало у меня странное чувство: жалость, недоумение. Соколов был в нем совсем не похож на того человека, о котором писала Мещерская. Этот раннмее, беззащитнее. И озлобленность казалась неустоявшейся. Чувствовалось, что он метался раньше в поисках человеческого отношения, а теперь махнул на все рукой в надежде, как он любил повторять, «авось, кривая вывезет...»

Через несколько дней я возвращалась в метро в часы «пик». Народу в вагоне было так много, что люди утрамбовывались вплотную друг к другу, точно тщательно подогнанные часовые винтики. Мне повезло, меня прижали к противоположной двери, в нее не входили и не выходили, и я могла смотреть в темное бархатистое стекло, в котором только при движении изредка мелькали красные искорки аварийных ламп.

И вот в таком положении, почти распластанная по двери, я услышала сзади разговор. Почему я прислушалась? Не знаю, может быть, голоса показались знакомы, но я не сразу повернулась, чтобы проверить свое предположение.

— Как ты мог, после всего?!

— Прекрати!

— Только тряпка, только человек без руля и ветрил способен так опуститься!
— Прекрати!
— Господи, и когда меня жизнь научит! Каждый раз заново тебе верю, вот идиотка!
— Прекрати, хуже тупой пилы!
— А почему я должна с тобой нянчиться, если ради меня ты не способен на малейшее усилие?!
— Я, мне, меня...— передразнил бархатный баритон.
— Я стояла возле музея сорок минут, а он предпочел со своими идиотами по бульварам шататься! Конечно, зачем ему культура, он же все науки превзошел, мыслитель!
— А если мы человека в армию провожали?
Баритон слова произносил неотчетливо, с туповатой старательностью, а девичий голос так и звенел металлом.
— К урокам не готовишься, книги полезные не читаешь, общественной работой не занимаешься — для чего ты живешь, какой от тебя толк?!
Ее собеседник захихикал.
— Другие девочки знают... Только они умные, они тупой пилой меня не перепиливали вдоль и поперек...
— Все, понимаешь, все, мое терпение кончилось! Ее голос прозвучал после долгой паузы тихо, устало, но решительно.
Я покосилась через плечо. Моя догадка была правильной. Это объяснялись, не замечая окружающих, Мещерская и Соколов. Меня поразили их лица. Мещерская казалась совсем некрасивой, даже ее поразительные бронзовые волосы точно выцвели, потускнели. И Соколов выглядел постаревшим.

На другой день я принесла в класс проверенные сочинения по теме «О девичьей гордости и мужской чести».
Соколов сидел на первой парте с самым невинным видом, разве что немного бледнее обычного, а Мещерская была, больше чем обычно, похожа на икону богородицы северного письма — такое же правильное скорбно-строгое лицо, такие же глубокие глаза, устремленные куда-то вдаль.
Я сказала, что почти все работы были интересными, но читать вслух ничего не могу, потому что авторы заранее это оговорили в тетрадях. И потому скажу, что среди всех затронутых вопросов больше всего девятиклассников интересовало, что можно прощать в любви, а что помилованию не подлежит.
В классе застыла почти кладбищенская тишина, только Ланщиков нетерпеливо вертелся и облизывал губы. Я не раздала сразу тетради, а эта оценка решала его четвертные претензии на «четверку».
— Отвечая на многие высказанные и даже невысказанные, но подразумеваемые вопросы, я буду говорить коротко, чтобы не отнимать много времени от урока. Мне никогда настоящее чувство не казалось позором, унижением. Позор, скорее, когда его предают, стыдятся, не уважают...
— А что это значит, вы нам по-простому, как детям, объясните? — вдруг дурашливо перебил меня Соколов, и это было так неуместно, не похоже на него, что многие удивленно посмотрели в его сторону.
— Можно, я отвечу?—вдруг подняла руку Мещерская и встала, соблюдая плавность движений и задумчивость тургеневских героинь, на которых была похожа, по мнению всех учителей.
— Позор, когда у юноши нет слова...—Ее грудной голос звучал негромко, но все прислушались, ощутив необычность ее интонации.— Когда он обещает бросить пить и приходит на свидание пьяный.
— Подумаешь! — фыркнул Ланщиков, но Соколов побагровел и вжал голову в плечи.
— Позор, когда юноша говорит о своих чувствах девушке, а потом сплетничает по ее адресу с дружками, из хвастовства сообщая о том, чего не было и быть не могло...
Речь ее была нетороплива, спокойна, точно она со вкусом рассказывала сказку ребенку перед сном. И в классе все больше недоумевали: о ее дружбе с Соколовым, видимо, никто не знал, но раньше она не была любительницей пускаться в теоретические рассуждения.
— Позор, когда юноша говорит, что не терпит условий в любви, что женская гордость — расчет, попытка женить, а сам не способен приложить каплю усилий, чтобы завоевать ее уважение, чтобы хорошо учиться, знать книги, ею любимые, музыку...
Соколов все тяжелее дышал через нос, не решаясь разжать зубы, сжатые так, что на скулах выступили желваки.
— Так может рассуждать только эгоистка,— неожиданно выкрикнула сзади Маруся Комова, по прозвищу Лягушонок. Прозвище очень точно обрисовывало ее внешность. Эта девочка обычно сидела на литературе беззвучно и радовалась каждой тройке, точно подарку, хотя занималась старательно, ежедневно, многое понимала, но выразить ничего не умела, отвечая на редкость примитивно.
— Докажи! — протяжно сказала Мещерская, дрогнув губами в иронической гримаске.
— Конечно, эгоистки бывают и поэтичными и всем нравятся, они и умные, но они не могут жить для любимого человека, им, видишь ли, гордость не позволяет! А что может быть лучше для женщины? Ведь гордость в том и есть, что ты любишь, ты возишься с человеком, ты ему помогаешь. И плевать, как он относится к тебе. Раз ты любишь — ты и счастливая...
— Рабья психология! — фыркнул Медовкин.
— Вот после такого и уважай девчонок! — Ланщиков торжествовал, он постоянно доказывал, что все зло на земле от женщин.
— Значит, если тебя любимый бьет по одной щеке, ты подставишь другую? — снисходительно спросила Мещерская.
Их спор мне почему-то стал напоминать дуэль, и Комова наступала очень азартно, порывисто откидывая голову, чтобы короткие волосы не падали на лоб.
— Ты просто боишься неудачной любви, ты всегда во всем будешь сначала думать о себе...
— А почему у меня может оказаться неудачная любовь? — Голос Мещерской был удивленным.— Я ведь никогда не полюблю человека, если раньше не увижу, что ему нравлюсь...
Соколов опустил голову так низко, что соломенные волосы совсем завесили его лицо. Видимо, слова Мещерской били по нему, точно удары кнута.
— А если мы даже потом разойдемся, то почему я должна переживать? Ему же будет хуже, такой, как я, он больше не найдет...
Куров даже присвистнул от восторга.
— Во дает!
Девочки возмутились, а Комова широко развела руками. Ее торжествующее лицо говорило, что слова в данном случае излишни. Но Мещерская не смутилась, все так же задумчиво она продолжала:
— Это не потому, что я чудо. Просто всякий человек неповторим. И если Он всерьез любил меня как личность, то либо Он больше уже никого не полюбит, либо у Него не было настоящего чувства. В пер-

вом случае — ему хуже от нашего разрыва, а во втором — мне же лучше, если от меня уйдет человек, не любивший всерьез.

Диспут возник стихийно, но затронул всех, даже Зоткин, «без пяти минут профессор», сосредоточенно морщил лоб, решая, как математик, условие этой психологической задачи.

— Значит, ничего нельзя прощать в чувстве? — спросила Ветрова.

— Нет, почему же? У людей могут быть ошибки, но когда дается слово и не держится, когда сегодня он объясняется в любви одной, а завтра другой...

— Какая же ты собственница! — возмутилась Комова.— Я бы сняла, если Ему хорошо с другой... Как поет Новелла Матвеева: она радовалась следу от гвоздя на стене, на котором Его плащ висел когда-то...

Бедный Лягушонок! Я поняла, наконец, происходящее и пожалела эту девочку, потому что, что бы она ни говорила, все было бесполезно. Такой, как Соколов, никогда бы не обратил внимания на девочку, если она не просто некрасива, а даже смешна.

Мещерская спокойно переждала шум, лицо ее сохраняло бесстрастность.

— Если Ему нужна другая, пусть идет, я бы в жизни никого не стала удерживать. Унизительно делить любимого человека, питаться крохами чувства...

— Ревность — признак настоящей любви! — важно сообщил Ланщиков, а Медовкин посмотрел на часы и сказал ядовито:

— Это очень милый разговор, но вот я пока равнодушен к любовным проблемам, меня больше интересует моя оценка за сочинение. А мы рискуем из-за наших дам так и не узнать оценок...

Я кивнула, соглашаясь с ним, открыла первую тетрадь, но Комова не могла успокоиться, спросила меня:

— А вы на чьей стороне?

— Я не признаю всепрощения в вопросах чувств,— сказала я резко, и Соколов еще больше пригнулся за партой. И хотя раздался звонок, в классе никто не вскочил.— Я не верю в склеенную посуду, трещина бывает не видна после ремонта, но пользоваться такой чашкой все равно нельзя...

В дверь просунулась чья-то голова. Ланщиков мгновенно вытолкнул непрошеного гостя и стал на страже, гордо скрестив руки на груди.

— Помните, я рассказывала вам о сцене, которую наблюдала однажды утром возле школы. Я так и не знаю ни начала, ни окончания той истории, но я убеждена, что девочка, которая позволила по отношению к себе грубость, никогда не будет счастливой...

Девятиклассники стали выходить, по дороге забирая свои тетради с моего стола. Соколов одним из первых рванулся к двери.

— Соколов,— окликнула я его,— вы, кажется, собирались со мной поговорить!

Он не оглянулся, бросив коротко:

— Все. Поговорили. Сыт!

Мещерская в отличие от него не торопилась. Она медленно сложила свой портфель, взяла часть книг в руку (у нее всегда было так много книг с собой, что они никогда не влезали в портфель), потом остановилась возле моего стола. И сказала, точно продолжала случайно прерванный разговор:

— Понимаете, жалко, конечно, Виталия, как маленького, хотя он пятаки пальцами сгибает. Но не может он из своей компании вырваться, нет воли, а эта публика его до добра не доведет. У них без выпивки ни одна встреча не обходится.

Она вздохнула.

— Обидно, столько я сил души на него положила за эти месяцы! И никакой отдачи, мои книги его не интересовали, от выставок он бегал, серьезную музыку так и не признал...

— А если он не мог этого сделать не потому, что не хотел? Если это было ему недоступно? Ведь бывает человек, не воспринимающий математику, без музыкального слуха?

Мещерская даже приоткрыла рот от удивления, потом покачала головой. Нет, в это она не могла поверить, в ее возрасте подобные трудности казались такими легкими, такими преодолимыми...

В десятом классе мы мало общались с Соколовым. Он перестал претендовать на четверки и лениво сдавал литературу по учебнику, откровенно скучая на моих уроках.

Однажды он подошел ко мне со стопкой каких-то фотокарточек и попросил сказать, за что я бы поставила «пять» или «четыре».

Он развернул их передо мной на столе, как пасьянс; это были фотоснимки разнообразных сочинений на аттестат зрелости.

— Палочка-выручалочка?

— А что делать, если своего серого вещества маловато? Я за это десятку отвалил, не откажите в любезности пометить, какие в вашем вкусе? Хотя за все были пятерки.

Целый вечер я сидела дома, читала все работы и ругала себя за либерализм. Разбирать эти сочинения было трудно, пересняты они были мелко, блекло, но все же утром я отдала Соколову карточки с моими оценками.

Он вздохнул.

— Мать честная! Только три пятерки и пять четверок на сорок работ! А я столько финансов грохнул из любви к литературе...

Медовкин тут же поинтересовался:

— Значит, вы не против шпаргалок?

— Даже за,— ответила я, и у мальчика загорелись глаза.— Да, я не оговорилась. Я очень люблю шпаргалки.

Мальчики мгновенно оседлали парты вокруг моего стола и приготовились слушать инструктаж, они не ринулись даже в буфет, хотя шла большая перемена.

— Советую шпаргалки делать как можно подробнее, мелким почерком, на бумажной гармошке. На каждого писателя отдельно. Сначала его фамилию, инициалы, даты жизни, название основных произведений, их даты, имена главных героев, краткое содержание...

Петряков старательно шевелил губами, точно заучивал наизусть.

— Только одно непременное условие.

— Пожалуйста! — с готовностью протянул ко мне ухо Ланщиков.

— Шпаргалки надо делать самому, не пользоваться чужими...

— А потом?

— А потом, перед экзаменом, оставить их дома.

— У-у-у! — прозвучал единый вопль разочарования.

— Цель достигнута, вы поработали, следовательно, запомнили.

Соколов от души смеялся, собирая свои фотоснимки. Он не давал их никому смотреть, приговаривая:

— Не тронь! Не тобой плачено! В долю могу взять. Только деньги сразу на бочку!..

Я думала, что он острит, но потом заметила, что Ланщиков и Петряков отошли с ним к окну, достали

деньги. Соколов явио решил вериуть часть своего капитала. И поступил хитро. Я попросила потом Ланщикова и Петрякова показать мне приобретенное. Оказалось, что им не досталось ни одно сочинение с моей пометкой. Выигрышные работы Соколов предусмотрительно оставил себе...

На выпускном вечере ко мне подошла немолодая расплывшаяся женщина в старомодном платье с оборками и стала благодарить, что я приохотила ее «поскребыша» к чтению.

Увидев мое недоумение, она пояснила, что Маруся Комова — ее дочь.

— А почему «поскребыш»?

— Так ведь она у меня одиннадцатая, самая маленькая.

И тут я разглядела на ее груди среди оборок орден.

— Всех подняла, всех в люди вывела, теперь и помирать не страшно,— сказала Комова,— мои ребятки, как грибы-опятки, друг за дружку всегда, а уж Машенька у нас самая дорогая. До нее одни парни шли, хоть плачь. Я уж прямо терпение теряла, да муж все дочку добивался. И вот только последняя вылупилась как надо...

Она гордо смотрела на своего «поскребыша», самую нарядную на вечере. Ни у кого не было такого дорогого парчового белого платья, почти как у невесты, таких модных туфель с высоченной платформой, таких старинных голубых бус. Маруся все время улыбалась, чуть смущенно, робко, и казалась почти хорошенькой. Только глаза ее беспокойно всматривались в выпускников, она оглядывалась, точно заблудилась в лесу.

Заметив меня и мать, она подбежала, подпрыгивая, и спросила:

— Соколова не видели? Он обещал со мной танцевать.

Потом ей показалось, что вдали мелькнули его белые волосы, и она бросилась в ту сторону, а мать добродушно улыбнулась.

— Пусть веселится, пока молода! Так она сегодня наглаживалась, так старалась, я уж и сама хочу на этого королевича поглядеть...

Но Соколов с Марусей не танцевал. Он пришел в модном костюме, от него пахло одеколоном, белые волосы были так гладко зачесаны, что казались париком. И с ним была накрашенная девица, не из нашей школы. Он от нее не отходил, пренебрегая одноклассницами, не заговаривал он и с учителями, явно подчеркивая, что уже «отрезанный ломоть».

Но Комова не очень грустила, может быть, не подавала вида?! Она даже с вызовом сказала мне:

— Ну и пусть, если ему с ней хорошо! Пусть танцует...

И все же вздохнула, расставаясь с надеждой.

— Мне лучше. Он ее ни капельки не любит, он даже не знает, что такое любить. А я знаю, ведь я счастливее, правда?!

Я кивнула, наш Лягушонок действительно была счастливым человеком. Она не умела ненавидеть весь мир из-за собственной боли.

Вскоре я незаметно ушла из зала, спустилась в нашу учительскую раздевалку и стала собираться, чтобы исчезнуть незаметно, никого не отрывая от веселья.

И вдруг услышала приглушенный разговор за стеной.

— А ведь я пропаду без тебя...

— Ну и пропадай!

Я узнала голоса Соколова и Мещерской.

— Чудно,— горько рассмеялся Соколов,— как я старался тогда до тебя дотянуться! Читал книжки, слушал твою музыку — скучно, не по мне, слушал тебя и не слышал, только смотрел... Вроде мы на разных языках говорили...

Они снова помолчали, но, видимо, Мещерская собралась уходить.

— Подожди! Сколько я давал себе слово плюнуть, забыть тебя, а как встречаю — точно ожог, все сначала. Хочешь, в ноги повалюсь?!

— Не юродствуй!

Мне почудилась даже ненависть в тоне девочки.

— Ты тряпка, элементарная тряпка, а такого я не могу жалеть, не обязана. И не хныкай, хоть раз в жизни будь серьезным.

— Если бы ты со мной говорила иначе, по-человечески, если бы ты не пилила меня, как тупая пила, если бы понимала, какие я все же делал усилия, чтобы выкарабкаться...

— А, болтовня! Пропусти, надоело!

Видимо, он загородил ей дорогу.

— Пусти! Нет, и не подумаю! Тогда не поцеловала и сейчас не заставишь! Ведь насильно не посмеешь, правда?..

Я сделала шаг к двери и увидела эту пару.

Мещерская стояла выпрямившись, откинув голову с тяжелым узлом бронзовых волос на затылке, а Соколов смотрел на нее так обиженно, что даже у меня защемило в горле. Он точно прощался в эту минуту и с юностью, и с мечтами, и с попытками начать другую жизнь. Так смотрят люди с корабля на тех, кто остается на берегу, когда полоса воды между ними начинает шириться, когда звучит последний гудок...

Даша Мещерская снова пришла ко мне только через два месяца. И сразу, с порога сказала:

— Не могу отключиться, все дни он перед глазами. Глупо, правда?

Она присела на табурет в передней.

— Наверное, я сдалась без боя, правда? Надо было за него бороться...

Она торопилась выговориться, она снова спрашивала, отвечала, у нее многое наболело за это время на душе...

— Я эгоистка, правда? Только о себе думала, о своей гордости, я никогда не пыталась всерьез его понять. А он не мог измениться сразу...

Она вздохнула.

— Может быть это была не любовь? Но почему я все места себе не нахожу?

Она стиснула зубы, чтобы удержать наплывавшие слезы. Потом подняла голову, посмотрела мне в глаза — и я поняла, что Даша стала взрослой.

И еще раз между нами возникла на секунду фигура Соколова. Мы обе так и не поговорили с ним вовремя.

А теперь было поздно. Навсегда поздно...

●



Вера ДОРОФЕЕВА,
Виль ДОРОФЕЕВ

НА ПЕРЕЛОМЕ

Академии наук СССР — 250 лет. Два с половиной столетия минуло с того дня, когда Петр I подписал свой знаменитый указ, в котором были слова: «...Учинить Академию».

За это время Академия прошла славный путь: от первых многотрудных географических экспедиций Беринга, Крашенинникова, Палласа — до дерзновенных экспедиций в космос. И сколько славных имен людей, совершивших подвиг во имя науки, высечено в памяти человечества... Ломоносов, Эйлер, Менделеев, Павлов, Вернадский...

В отличие от бесполезных усыпальниц египетских фараонов пирамиде человеческих знаний не суждено принять форму законченного сооружения.

Порой проходят не годы, а десятилетия, прежде чем то или иное научное открытие приобретает в сознании людей весомость и значимость, облекаясь в материальные, вещественные рабочие одежды. Так было с исследованиями Курчатова, Арцимовича и Тамма в ядерной физике. Такая судьба у работ биолога Вавилова и Главного конструктора Королева.

Советская наука крепла, развивалась, потому что в ее основе всегда был неизменным принцип — научное творчество во имя людей, во имя страны. Вместе с народом прошли советские ученые более чем полувековую историю становления и возмужания нашего государства.

Настойчиво, кропотливо, день за днем на огромных просторах шестой части планеты они открывали и открывают богатства подземных кладовых и тайны Вселенной, бьются над освобождением и обузданием термоядерной энергии, постигают механизм процессов живой клетки.

Особое место в истории Академии занимает эпоха Великого Октября. Привлеченная Лениным в самые суровые годы революции к служению народу, первому в мире социалистическому государству, Академия благодаря повседневной заботе Коммунистической партии сплотила вокруг себя лучшие научные силы нашей страны, стала подлинным «штабом советской науки».

Этим суровым годам, ставшим переломными в жизни Академии, посвящен публикуемый нами отрывок из книги Веры и Виля Дорофеевых «Время, ученые, свершения», которая выпускается Издательством политической литературы.

Гранитный цоколь подъезда был сплошь заклеен декретами, обращениями... Язык этих документов отрывист и суров, как сама жизнь в Петрограде зимой 1918 года. Воздух насыщен тревогой. Лавина событий, собраний, решений катилась на город мелкими строчками петита газетных материалов.

2 января 1918 года. «Чрезвычайная комиссия по охране Петрограда получила сведения, что контрреволюционеры всех направлений объединились для борьбы с Советской властью и днем своего выступления назначили 5 января — день открытия Учредительного собрания».

5 января. «Имели место провокационные выстрелы в рабочих, солдат и матросов, охранявших порядок в столице».

6 января. «Саботируют служащие банков... Забастовка учителей».

13 января. Английский посол в Петрограде сэр Бьюкенен в своем интервью корреспонденту агентства Рейтер заявил: «Большевики, без сомнения, являются в данный момент господами положения в России».

19 января. «От Комиссариата народного просвещения. 23 января, в 4 часа дня, в здании комиссариата состоится собрание оставленных при кафедрах всех учебных заведений Петрограда. В первую очередь будет рассматриваться план проекта материального обеспечения начинающих ученых, которое давало бы им полную возможность заниматься чисто научной работой...»

На эти разноликие сообщения газет накладывались слухи — они во множестве растекались по Петрограду.

«...Луначарский приказал распилить Александровскую колонну и сделать памятники Марксу и Энгельсу».

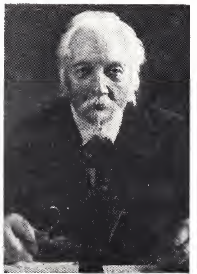
«...На Петроградской стороне банда попрыгуничиков объявилась, грабят всех до исподнего».

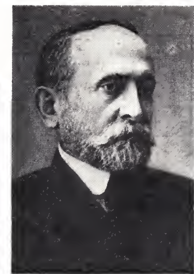
Что там благонамеренный обыватель... Благонамеренный интеллигент, столь жаждавший некогда революционных перемен, был растерзан и погребен под лавиной слухов, декретов, газетных сообщений.

...Среди всех преобразований и потрясений, как прежде, без перемен стояла Российская Академия наук. Еще никто из представителей новой власти не появлялся в ее стенах. Правда, кое-кто из работников Наркомпроса уже обсуждал «смелый» план реорганизации Академии наук.

Неизвестно, каким образом дошли эти планы до Владимира Ильича Ленина. Впоследствии нарком просвещения А. В. Луначарский вспоминал о разговоре с Лениным по этому поводу:

«Очень боюсь, чтобы кто-нибудь не «озорничал» вокруг Академии,— сказал Владимир Ильич.— Нам сей-





Академики Александр Петрович Карпинский, Сергей Федорович Ольденбург, Владимир Андреевич Стеклов, Иван Петрович Павлов, Алексей Николаевич Крылов.

час вплотную Академией заняться некогда, а это важный общегосударственный вопрос. Тут нужна осторожность, такт и большие знания, а пока мы заняты более проклятыми вопросами. Найдется у вас какой-нибудь смельчак, наскочит на Академию и перебьет там столько посуды, что потом с вас придется строго взыскивать».

Нарком просвещения тоже был против «стремительных» преобразований в Академии...

Молодой Советской власти, как хлеб и топливо, необходимы были высокообразованные люди. Ленин понимал это как никто другой. Недаром он писал: «Мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены, если забавляться этой побасенкой... Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы коммунистического общества построить не можем. А эта наука, техника, искусство — в руках специалистов и в их головах».

Но как привлечь специалистов на свою сторону? Как заставить их посмотреть на голод, разруху иными глазами, нежели взгляд обитателя обширной петербургской квартиры? И как быть с академиками, если не приемлет Советскую власть и бастует заурядный банковский служащий?

...Хмурым январским днем 1918 года в подъезд дома № 5 по Университетской набережной в Петрограде вошел непривычный посетитель, в кожаной куртке, сапогах. Он проследовал прямо в приемную непременного секретаря академика С. Ф. Ольденбурга. Грудь вошедшего не пересекали традиционные пулеметные ленты, набитые патронами; огромный маузер, на страх врагам мировой революции, не болтался на поясе. Посетитель был отменно вежлив и сдержан. Попросил доложить, что он из Комиссариата просвещения...

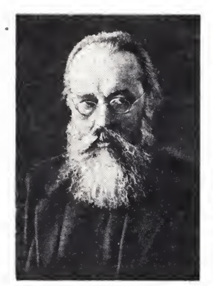
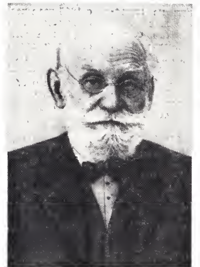
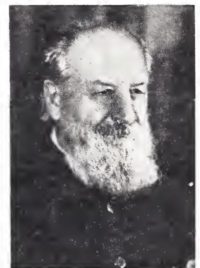
Наука, которою занимался Сергей Федорович Ольденбург, была далека от насущных нужд тех суровых дней. Один из основателей русской индологической школы, он, однако, не был погружен лишь в изучение литературы и фольклора Индии. Обладая широкими знаниями и масштабностью мышления, ученый старался постичь, что́ происходит в России в годы изначального разбега нового века. Он отдавал себе отчет, что в бурном техническом прогрессе, надвигающемся на Россию, огромное деревянное колесо самодержавной государственной машины может рассыпаться в прах. Вместе со многими передовыми людьми он пытался что-то сделать и был в числе тех ученых, кто подписал в 1905 году знаменитую «Записку 342», в которой говорилось о необходимости преобразования просвещения в России. Став видным деятелем партии конституционных демократов — партии вальяжных говорунов, сущность этой организации, всю ее беспомощность он понял много позднее.

Свои мысли о связи науки с жизнью Ольденбург высказал тогда довольно определенно: «Между наукой и жизнью всегда будет известная грань, переступить которую без ущерба для себя не могут ни жизнь, ни наука. Жизнь, пытаясь войти в слишком близкое общение с наукою, пытаясь без разбора пользоваться ею для своих практических целей, немедленно падет жертвою доктринерства; ценнейшее в научном отношении открытие в области физики или химии может непосредственно не дать ничего для техники. И, наоборот, наука, желая войти целиком в жизнь, чтобы стать к ней в непосредственные отношения, должна потерять необходимые для ее существования независимость и объективность, ибо ей придется сделать попытку подчинить свои незыблемые законы постоянно изменяющимся условиям человеческой жизни...»

Вот так: наука для науки, и лишь частью — для жизни.

Февральскую революцию 1917 года Ольденбург встретил восторженно. Он даже согласился быть министром просвещения в правительстве Керенского. Маститый ученый, как, впрочем, большинство людей его круга, не понимал, что февральские события — это лишь распахнутая дверь в приемную революции, и основное произойдет там, за другой дверью, в скором будущем...

Отгремел Октябрь. Недавний министр в своем академическом кабинете ведет беседу с посланцем Советов. Тот деловито ставит вопрос: какую работу

могла бы выполнять Академия по заданиям Совета Народных Комиссаров?

В тот же день было объявлено об экстраординарном заседании общего собрания Академии 24 января 1918 года. Есть протокол этого заседания, где непременный секретарь сообщил, что Наркомпрос предлагает Академии помочь правительству «в разработке некоторых вопросов научного характера... при сохранении ее (Академии) полной самостоятельности».

Любопытна запись, которую сделал в те дни в своем дневнике вице-президент Академии, известный математик В. А. Стеклов.

«Я заявил, что отказываться a priori нет оснований, но в каждом частном случае Академия в зависимости от ее мнения о том, стоит или нет разрабатывать предполагаемый вопрос, находит ли она его достаточно заслуживающим научного интереса, имеет ли подходящие научные силы, может согласиться или отказаться, единственно по научным соображениям, но принципиально не отказывается и не может отказаться. Все, по-видимому, согласились».

27 января. В Тенишевском зале в Петрограде служили «панихиду по России». Мережковский, Гиппиус и другие в стихах и прозе «хоронили» страну. Именно в этот день в Академию доставили пакет с документом, озаглавленным неожиданно для ученых: «Положения к проекту мобилизации науки для нужд государственного строительства».

Шокировало слово «мобилизация». Смущал непривычный язык документа, обороты и выражения, которые, казалось, попали сюда из декретов и воззваний. Но при повторном прочтении ученые ощутили то, что за раздражением и насмешками не заметили сразу — перспективу...

Сегодня «Положения к проекту мобилизации науки...» кажутся нам обычным рабочим документом. Но в те дни этот документ, в котором очерчивалась дальняя перспектива научных исследований, их научная целенаправленность, казался удивительным. Это был единый всеобъемлющий план будущей экономической жизни страны на основе гармоничного соответствия между сельским хозяйством и промышленностью... Он требовал огромных предварительных коллективных научных исследований. И в нем указывались точки приложения знаний, опыта, таланта не одного, а многих поколений ученых...

В Академии тщательно изучали «Положения к проекту мобилизации науки...». Тут уже нельзя было отделаться обтекаемыми фразами и общими, ничего не значащими заявлениями. Требовался ответ на основной вопрос: пойдет ли Академия с Советской властью?

Новое экстраординарное общее собрание Академии было назначено на 20 февраля 1918 года. Но отдельные ученые уже начали сотрудничать с Советской властью. 15 февраля академик А. Н. Крылов пишет академику П. П. Лазареву:

«Был я по делам Сейсмического комитета в Комиссариате народного просвещения, беседовал с помощником Луначарского Тер-Оганесовым (астроном, оставленный при Петроградском университете)... Тер-Оганесов сказал, что Комиссариат озабочен тем, чтобы всячески поддерживать деятельность научных и просветительных обществ, научных изданий, в случае чего могут снабжать не только средствами денежными, но, что дороже денег, прямо бумагой...

Думаю, что и по этому поводу... Вашему институту не следует их чураться, а напротив, ...как бы то ни было, жизнь теперь будет строиться на новых началах, и способствовать ее скорейшему устроению следует всем, и надо стремиться к тому, чтобы наука заняла должное положение, а это проще всего достигается взаимным содействием, а не чуранием».

На экстраординарном собрании 20 февраля 1918 года было решено: «Академия полагает, что значительная часть задач ставится самой жизнью, и Академия всегда готова, по требованию жизни и государства, приняться за посильную научную и теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства, являясь при этом организующим и привлекающим ученые силы страны центром».

За день до памятного собрания правительство Германской империи объявило о прекращении перемирия с Советской Россией. И пока редкие цепи первых красноармейских частей на заснеженных берегах узкой речушки Черехи под Псковом стояли на-

смерть, а наспех сформированные полки из питерских рабочих и матросов Балтики дрались с частями оккупантов под Нарвой, Ленин и его соратники вели бой за необходимый стране мир. Сколько едких упреков и колких выпадов публикуют в те дни меньшевистские газеты! Сколько злобствующих, до поры затаившихся противников выползло в те дни из щелей, чтобы ехидно прогнусавить из-за угла: «Довели Россию товарищи!..» Сколько своих, казалось бы, верных партийцев вдруг качнулось в сторону...

22 февраля. Социалистическое отечество в опасности! Формирование частей Красной Армии. Газеты печатают приказы Петроградского военного округа. Всеобщая мобилизация.

23 февраля. Германия выдвинула новые, еще более тяжелые условия мира. Советское правительство принимает эти условия. 3 марта мир подписан.

Известие о сокращении хлебного пайка в Петрограде. Из-за голода объявлена эвакуация жителей Москвы, а также детей от 5 до 15 лет из Петрограда.

17 марта. Пироговский съезд врачей высказался против большевиков. На съезде обсуждался вопрос о возможности забастовки врачей (!).

19 февраля. С. Ф. Ольденбург получил от руководства Московского общества сельского хозяйства письмо с просьбой сообщить, какую позицию заняла Академия наук в связи с предложением Наркомпроса начать работу по изучению народного хозяйства. «Явно отрицательной позиции совет Общества по вопросу о научных исследованиях в контакте с новой властью не займет, и особенно, если работа будет вестись под общим руководством Академии наук... Участие в продолжении или, точнее, развитии уже организованной Академией работы по изучению производительных сил России определяется не только для Московского общества, но... и для многих других московских учреждений ролью Академии наук».

Отвечая 2 марта на это послание, Ольденбург подчеркивает: «Академия считает, что она не вправе отказаться от выполнения конкретных задач на пользу государственную».

Истинные ученые — всегда созидатели, а не разрушители. И, отбросив все разговоры и эмоции, трезво проанализировав ситуацию, они вдруг увидели: мир необходим, как воздух. Даже тяжкий, позорный, «похабный»... И действия большевиков рассчитаны не на один-два года, а на долгий срок. Эти ученые видят, что Советская власть, большевики стараются всеми силами удержать лавину разрухи, которая катится по России. Советы обращаются к ученым за помощью во имя России — так могут ли ученые отказать в этой помощи?..

5 марта нарком просвещения А. В. Луначарский направляет президенту Академии наук А. П. Карпинскому письмо, в котором есть такие строчки:

«...В тяжелой обстановке наших дней, быть может, только высокому авторитету Академии наук, с ее традицией чистой, независимой научности, удалось бы, преодолев все трудности, сгруппировать вокруг этого большого научного дела ученые силы страны».

С того момента прошло несколько недель, и газета ВЦИК «Известия» на первой полосе, между сообщениями о борьбе с голодом и отменой пассажирских поездов на железной дороге, печатает ответ президента Российской Академии наук наркому просвещения.

«Милостивый государь Анатолий Васильевич!

Письмо Ваше на мое имя было доложено Конференции Российской Академии наук, которая всесторонне его обсудила и поручила Комиссии по изучению естественных производительных сил, уже с 1915 года ведущей ряд работ, объединяющих русских ученых на почве использования для нужд народных естественных производительных сил страны, составить записку с изложением того, к чему Академия могла бы приступить немедленно, развивая, расширяя и дополняя уже начатое ею.

Вопрос о надлежащем использовании научных сил страны и о надлежащей их организации при выполнении научных задач, требующих объединения и согласования работ отдельных ученых, имеет исключительное значение именно у нас, где чрезвычайно велико несоответствие между количеством наличных сил и теми громадными задачами, какие перед нами ставит жизнь...

То глубоко ложное понимание труда квалифицированного, как труда привилегированного, антидемократического, ...легло тяжелою гранью между массами и работниками мысли и науки. Настоятельным и неотложным является поэтому для всех, кто уже сознали пагубность этого отношения к научным работникам, бороться с ним и создать для русской науки более нормальные условия существования.

Академия наук, не переставшая ни на один день работать и после Октябрьского переворота, взяла на себя часть того дела, которое делала Комиссия по ученым учреждениям при министерстве народного просвещения...»

Поначалу, прочитав рядом с опубликованным письмом президента сообщения, где речь идет о скрупулезном подсчете продовольствия, удивишься: в России нет металла, топлива, по деревням снова, как в стародавние времена, зажглись лучины, а президент Академии сетует на непонимание труда ученых.

Глубокая аполитичность? Очередная уловка, чтобы прикрыть нежелание работать с Советской властью?

Но нарком просвещения А. В. Луначарский 5 апреля, в беседе с корреспондентом «Известий», говорит, что «среди интеллигенции определился поворот в сторону Советской власти». И, выступая с докладом на заседании ВЦИК 11 апреля, Луначарский обращает особое внимание на письмо президента Академии наук гражданина А. П. Карпинского.

Сегодня видно: президент Академии глубоко понимал, что действия нового правительства рассчитаны с дальней перспективой. И говоря о тогдашних нуждах Академии, положил в основу своих рассуждений и предложений именно это.

Советская власть провозглашает: учет и организация — первоочередные задачи страны. Предлагаемое в письме президента издание справочников «Наука в России» — это необходимая основа для учета, организации и объединения всех научных сил страны. Без этого невозможны те широкие исследования России, которых большевики ждут от ученых.

Да, Академия два столетия была ограждена от народных масс титулом «Императорская» и в основном стояла в стороне от политической и экономической жизни страны. Но теперь этого барьера нет. И ученые согласны работать на благо России.

Письмо А. П. Карпинского словно подвело черту под взаимной «разведкой и прощупыванием» Академии наук и Советской власти. Начиналась большая совместная работа...

Время требовало немедленных решений и действий. Страна словно проснулась от вековой спячки и пыталась пересесть с телеги на бешено мчащийся курьерский поезд. Немало было совершено ошибок при этой «пересадке». Но, рассматривая происходившее сквозь призму времени, думаешь о том, что не будь ленинского отношения к науке, государственной заботы о ней, тактичного и тонкого подхода, в этой области не обошлось бы без «травматизма»...

Отношение новой власти к научным силам казалось кое-кому необычным. В 1925 году, когда отмечался двухвековой юбилей Российской Академии наук, нарком просвещения А. В. Луначарский писал: «Академию обвиняли в своеобразной мимикрии. (Имеется в виду согласие Академии сотрудничать с Советской властью.— РЕД.) Наркомпрос получил свою долю упреков.

...Но я спрашиваю, могла ли быть у Академии и у нас более разумная политика? Чего могли мы требовать от Академии? Чтобы она внезапно всем скопом превратилась в коммунистическую конференцию, чтобы она вдруг перекрестилась марксистски и, положив руку на «Капитал», поклялась, что она ортодоксальнейшая большевичка? ...Искренним подобное превращение быть не могло. Быть может, оно и придет со временем... Но при каких условиях этот процесс может завершиться? Только при условиях доброго соседства».

К академику-секретарю С. Ф. Ольденбургу пришел сотрудник Совета Народных Комиссаров, лично посланный В. И. Лениным. Это был инженер Н. П. Горбунов...

В те дни хлебный паек в Петрограде уменьшился до размеров микроскопических: выдавали всего по осьмушке хлеба на день. Во Владивостоке высадился японский десант. На юге — в сытых, хлебных областях—вновь выступили калединцы. А в кабинете непременного секретаря ответственный работник Совнаркома сообщает, что Советское правительство считает возможным более широкое развитие научных предприятий Академии. Мало того, разговор идет о делах вполне конкретных. Какие экспедиции Академия намечает провести в ближайшее время? Какие необходимо создать институты и лаборатории? Какие издания научных трудов выпустить в ближайшее время? Пусть Академия скорее ответит Совнаркому на эти вопросы.

И еще одну просьбу высказывает инженер Горбунов.

Академия всегда поддерживала теснейшие отношения с такими организациями, как Сельскохозяйственный ученый комитет, Географическое общество... Не может ли Академия в силу установившихся многолетних отношений выяснить, какие нужды испытывают эти учреждения? Им тоже будет оказана помощь...

Все это предопределило дальнейшую роль Академии в научной жизни страны — роль штаба советской науки, ее организатора.

Вскоре после разговора Н. П. Горбунова с С. Ф. Ольденбургом Совнарком постановляет: «Принципиально признать необходимость финансирования соответствующих работ Академии...»

В своем письме-ответе А. В. Луначарскому президент Карпинский не случайно писал, что Академия наук не переставала ни на один день работать и после Октябрьского переворота...

Да, ученые работали в самые сложные и суровые дни. И к моменту, когда Академия начала сотрудничать с Советами, у Комиссии по изучению естественных производительных сил страны (КЕПС), еще в 1915 году созданной при Академии, было готово уже 200 печатных листов научных исследований.

Мало кто из ученых верил, что в ближайшее время этот труд будет издан. Бумажный голод, как и голод продовольственный, шел по пятам Советской власти. Курильщики экономили каждый клочок на закрутку. А тут необходима бумага на издание двухсот печатных листов — 4800 страниц машинописного текста... Но В. И. Ленин дает указание «ускорить издание». Наркомпрос, Союз типографских работников, Комиссариат труда — эти организации и учреждения были втянуты в орбиту печатания исследований КЕПС. И в кратчайший срок увидели свет шесть томов: «Ветер как двигательная сила», «Белый уголь», «Артезианские воды», «Полезные ископаемые», «Растительный мир», «Животный мир»...

...Издавна было известно, что Россия богатая страна, но чем и насколько, в точности не знал никто. Лишь издание труда КЕПС несколько обрисовало картину подлинных сокровищ страны. А ведь это был лишь результаты исследований всего за два года.

В апрельские дни 1918 года В. И. Ленин пишет «Набросок плана научно-технических работ». Стремительным ленинским почерком, еще с твердым знаком в слове «наук», с одной лишь поправкой, написан этот документ. В нем всего полторы странички текста, но многое из него ляжет в основу деятельности советских ученых на десятилетия...

«Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России, следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства поручение

образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России.

В этот план должно входить:

рациональное размещение промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта.

Рациональное, с точки зрения новейшей наиболее крупной промышленности и особенно трестов, слияние и сосредоточение производства в немногих крупнейших предприятиях.

Наибольшее обеспечение теперешней Российской Советской республике (без Украины и без занятых немцами областей) возможности самостоятельно снабдить себя всеми главнейшими видами сырья и промышленности.

Обращение особого внимания на электрификацию промышленности и транспорта и применение электричества к земледелию. Использование непервоклассных сортов топлива (торф, уголь худших сортов) для получения электрической энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз горючего.

Водные силы и ветряные двигатели вообще и в применении к земледелию».

Нет, это не «набросок», а точный и краткий, как военный документ, план, тщательно выверенный, родившийся в результате долгих раздумий: как наиболее быстро и полно решить вопрос первостепенной важности — соединить производство с развивающейся наукой и с ее помощью вытащить из разрухи, поднять хозяйство России.

В каждом номере «Известий» той поры есть рубрика «Продовольственное дело». «Хлебный паек в Петрограде удалось увеличить до $^1/_4$ фунта на карточку. Запасов продовольствия хватит на несколько дней».

29 мая. Выдача круп только по рецептам врачей. Детям — манка, взрослым — рис. И рядом публикуется сообщение Комиссариата просвещения: «На нужды астрономической обсерватории в Ташкенте ассигновано 44 000 рублей».

...Казалось, десятилетиями копились в тишине малочисленных институтов и одиноких лабораторий идеи, знания, опыт, чтобы в эти скудные годы вдруг выплеснуться на поверхность. В то время были проблемой паяльные лампы и просто лампочки электрические, кусок провода или шланг для вакуумного на-

соса. Но добывались и провода, и лампочки, и шланги, и приборы. Порой незначительную на первый взгляд просьбу кого-нибудь из ученых помочь оборудованием, материалом Ленин лично брал под свой контроль. Ильич понимал, что в отношении науки не годится никакая аналогия с птицей Фениксом: ничто из пепла не возродится. В науке необходимы основа, сохранение традиций. За два года, несмотря на гражданскую войну, интервенцию и разруху, в стране было создано более 50 научно-исследовательских институтов и лабораторий. И это в период, когда республика Советов была сжата почти до пределов древнего московского княжества. Но маленькая эта республика была тогда как ядро сверхплотного вещества революции. «Частицами» этого ядра в то суровое время были и ученые России, ее Академия.

Поразительные явления происходили в те месяцы в русской науке. Биология, ботаника, астрономия — эти классические отрасли не были самостоятельными в царской России. Они оформились организационно — получили штаты, деньги, помещения, оборудование — лишь при Советской власти, в первые, самые трудные годы ее существования. А такие направления, как биофизика, биохимия, радиология, создавались вновь.

И как же будет неправ Герберт Уэллс, посетивший Россию в 1920 году, когда напишет в своих очерках: «Новый, незрелый еще общественный строй, ведущий борьбу с грабежами, убийствами, с дикой разрухой, не нуждается в ученых, он забыл о них...»

25 апреля 1918 года. Коллегия научного отдела Наркомпроса в письме С. Ф. Ольденбургу сообщает, что в распоряжение Академии наук предоставлено 150 000 рублей и Наркомпрос принимает меры для обеспечения ученых зарубежной научной литературой.

21 мая. На издание академического труда «Наука в России» отпущено 24 800 рублей.

4 июня. Телеграмма Совнаркома гласит: на нужды Академии утвержден аванс в 350 000 рублей.

14 января 1919 года. Совет Народных Комиссаров постановляет отпустить Центральной химической лаборатории дополнительно к смете второго полугодия 450 000 рублей.

Развитие научных исследований в те годы можно сравнить с мощным взрывом. Казалось, что ученые долгое время сдерживали себя и вдруг устремились в едином порыве вперед. Но любой, даже самый малый взрыв имеет свой источник энергии. Для науки таким «источником» были отношение государства, пристальное внимание Ленина, его забота.

Интервенция, гражданская война и... индология! Нужна ли она? Так, очевидно, думал и сам секретарь Академии С. Ф. Ольденбург. А вот Владимир Ильич считал иначе и не преминул сказать об этом при встрече востоковеду Ольденбургу:

«Идите в массы, к рабочим и расскажите им об истории Индии, обо всех вековых страданиях этих несчастных, порабощенных и угнетенных англичанами многомиллионных масс, и вы увидите, как отзовутся массы нашего пролетариата. И сами-то вы вдохновитесь на новые искания, на новые исследования, на новые работы огромной научной важности».

Не просто научный поиск, а вдохновенный, когда человек одержим одним — свершить для людей благо. Пусть не сегодня, а спустя десятилетия. Ленин видел, понимал, чувствовал ту огромную роль, которую предстояло еще сыграть науке в становлении и развитии нового государства.

Деятельность Академии той поры многогранна и разнопланова. Многие свершения будоражат мысль, ведут ее в день сегодняшний. Одна за другой снаряжались экспедиции Академией наук. Люди отправлялись в трудный, опасный путь за железом и марганцем, апатитом и слюдой...

В Лапландию на разведку сланца уйдет экспедиция профессора Яковлева. Она будет остановлена вооруженной бандой, которая отнимет у геологов все: продовольствие, снаряжение, даже полевые книжки-дневники...

В 1920 году, как только английские интервенты покинут Кольский полуостров, туда отправится комплексная экспедиция Академии наук. Специальный поезд медленно пройдет по хлипкой железнодорожной ветке, вокруг которой еще во множестве сохранятся следы недавней оккупации. И ученые вместе с железнодорожниками будут крепить мосты через бурные северные речушки.

Сегодня Ленинский проспект в Москве называют «Магистралью науки». С гостиницы для приезжающих в столицу ученых начинает он свой разбег, чтобы закончиться почти у самой границы города интернациональным университетом имени Патриса Лумумбы. А сколько научно-исследовательских учреждений, расположенных на этом проспекте, стартовали в суровое время гражданской войны!

В те годы при КЕПС были созданы отделы, руководство которыми взяли на себя видные ученые. В апреле—мае 1918 года образовался Отдел оптики — его возглавил профессор Д. С. Рождественский (вскоре отдел был преобразован в Государственный оптический институт), и Отдел нерудных ископаемых под руководством А. Е. Ферсмана, и Отдел по редким элементам и радиоактивным веществам (его сокращенно называли «Радиевым отделом» или «Хозяйством Вернадского»). Позже возникает Отдел исследований Севера, который возглавит президент Академии. Затем Гидрологический отдел, Промышленно-географический и, наконец, Отдел экспериментальных исследований. Во главе последнего будет поставлен академик А. Н. Крылов.

В условиях этого «крещендо» научных исследований становится тесным старый «вицмундир», оставшийся в виде структуры и штатов от Императорской Академии. Жизнь требовала иной организации научных исследований, и ученые сами понимали, сколь вредна теперь келейность.

В последние полвека перед революцией Академия была для царствующего дома скорее неким импозантным атрибутом, нежели важным научным учреждением, без которого немыслимо развитие государства. Академиков к 1917 году было всего 41, а весь персонал насчитывал 220 человек. Причем научной работой из них занималась лишь половина. Да и сам стиль работы был скорее официозным, нежели деловым. По древней традиции на заседание не допускались лица, не избранные в Академию. Но в первые месяцы Советской власти исследования приняли такой размах, что пришлось пожертвовать традицией. Отныне в заседаниях научного штаба принимали участие и лица, не избранные, но руководящие тем или иным институтом, лабораторией, которые находились в ведении Академии. Многие из этих ученых через несколько лет стали академиками. К 1925 году только в Академии работало 873 научных сотрудника.

Еще шли на Москву Мамонтов и Шкуро, в ростовских кафе-шантанах поднимали тосты за «единую-неделимую», а в лаборатории Московского университета Н. Д. Зелинский вел работу, которая спустя несколько лет позволит ему на вопрос анкеты: «Какое принимали участие в Октябрьской революции и гражданской войне?» — ответить: «Активно работал в 1918—1919 годах в лаборатории Московского университета по выработке из солярного масла авиационного бензина».

По кабакам Владивостока пьянствовали остатки офицеров «Московской армии», которым адмирал Колчак еще так недавно обещал высокую честь вступить первыми в белокаменную Москву, освобожденную от «красных банд». А на одном из заводов в Петрограде будущий академик В. Г. Хлопин запечатал в пробирку первый препарат радия, полученный из русского сырья.

В Париже издатель эмигрантской газеты «Общее дело» В. Л. Бурцев в передовых статьях, заканчивавшихся неизменным проклятьем «Осиновый кол вам, большевики», писал о том, что лучшие умы покинули Родину и потому гибель цивилизации в России неминуема. А в Петрограде под руководством А. Ф. Иоффе начал работать знаменитый Физико-технический институт, из которого выйдет спустя малое время замечательная плеяда ученых — П. Л. Капица, Н. Н. Семенов, Ю. Б. Харитон и другие...

За металлургом Д. К. Черновым промышленные магнаты прислали в Крым миноносец. Но ученый отказался покинуть Родину. Сколько чернил потратили западные журналисты, упражняясь в прогнозах и догадках: «Когда же покинет «Совдепию» лауреат Нобелевской премии физиолог И. П. Павлов?» Этот вопрос задали и самому Павлову и в ответ услышали: «Может быть, вы заодно прихватите Медный всадник или Исаакиевский собор? Это ведь тоже достопримечательность России...»

В те суровые годы происходило явление, о котором впоследствии образно скажет академик Л. А. Арцимович: «Наука находится на ладони государства и согревается теплом этой ладони». В природе ничто не пропадает втуне. И наука, «согреваясь», начинает, усиливая в десятки раз, возвращать тепло...

...В сентябре 1925 года Академия собралась на празднование своего юбилея. Двести лет ее существования ознаменовались бурным стартом отечественной науки, неспешным движением на середине дистанции и стремительным спуртом на двухвековом рубеже.

Тяжелые дубовые двери здания № 5 по Университетской набережной в Ленинграде были 5 сентября 1925 года открыты настежь. По широкой лестнице, первый пролет которой венчало знаменитое мозаичное панно Полтавской баталии, созданное первым русским академиком М. В. Ломоносовым, поднимались те, кто приехал на юбилей Российской Академии наук. Лучшие люди Петрограда пришли приветствовать Академию. Гостей принимал президент Карпинский. В парадном сюртуке, небольшого роста, подвижный, седобородый, он шутил с приезжими учеными, знакомил с остальными гостями. 29 стран мира устно и письменно приветствовали в те дни Российскую Академию наук, отмечавшую двухвековой юбилей. Многие зарубежные ученые, прибывшие на это празднество, читали у себя в газетах, что в России царят запустение, разруха, хаос, что все это не миновало и Академию наук. Они воочию убедились в лживости сообщений буржуазной прессы.

Огромные задачи стояли перед этим штабом науки. Академия по решению правительства стала именоваться Академией наук Союза Советских Социалистических Республик. Это была не просто смена «титула», как в первые месяцы 1917 года, а событие, символизирующее те перемены, которые произошли в деятельности Академии всего за восемь лет Советской власти. И не случайно в тот день «всесоюзный староста» М. И. Калинин сказал: «Наука для масс — для трудового человечества».

6 сентября 1925 года в просторном зале Ленинградской филармонии состоялось торжественное заседание, посвященное 200-летию Академии. Выступавшие говорили о широчайших возможностях, открытых Советской властью перед учеными... На трибуне нарком просвещения А. В. Луначарский. Он начинает свою темпераментную речь по-русски, затем переходит на немецкий, английский, французский языки и заканчивает выступление классической латынью. Нарком говорит о том, какую помощь оказали уже Советской власти ученые: новые исследования в геологии, обширные материалы по учету производительных сил государства, новое правописание, этнографические карты Белоруссии и Бессарабии, поддержка при введении грамотности в национальных республиках, при реформе календаря и т. д. Речь А. В. Луначарского образна, как строфы стихотворения, и точна, как выпад мастера фехтования.

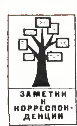
«Лучи солнца падают на вспаханную пахарем землю, и она дает прекрасные всходы, но эти же лучи солнца падают на мусорную яму, и тогда под их воздействием развиваются отвратительные микробы, несущие эпидемии, заразу и смерть человечеству». Наука может служить разным целям, в зависимости от того, какому классу она служит.

...Прошло немногим более семи лет с того январского дня 1918 года, когда состоялось первое экстраординарное собрание Академии наук. Годы, насыщенные суровыми испытаниями и небывалым до той поры творчеством, когда ученые работали с мыслью, что их труд «вливается в труд... республики».

Пройдет еще немного времени — и знания академиков, их мысли и идеи потребуются Днепрогэсу и Магнитке, Сталинградскому тракторному и апатитовым рудникам Хибин, хлебным нивам Украины и хлопковым полям Средней Азии.

Первые шаги уже делают в те годы ученые нового поколения, которые составят впоследствии гордость советской и мировой науки. И есть некая символика в том, что в сентябрьские дни 1925 года, когда Академия отмечала двухвековой юбилей, в Ленинградский физико-технический институт был принят на работу вчерашний студент, никому пока еще не известный Игорь Курчатов...





«КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ ТАМ, ГДЕ ОНА НУЖНЕЕ»



Прошлой осенью было создано Всесоюзное добровольное общество любителей книги. Пропаганда книги, работа с книгой, помощь книге и людям, в ней нуждающимся,— вот основные цели общества. В центральном правлении и президиуме общества известные писатели, ученые, журналисты, работники издательств, библиотек...

В этом списке и член-корреспондент Академии наук СССР Алексей Алексеевич Сидоров.

Известный искусствовед (одна из его последних фундаментальных работ — «Русская графика начала XX века»), Сидоров создал научную школу по изучению книги, ее истории.

В 1906 году Сидоров купил первую книгу своей библиотеки, в 1912 году — первый рисунок. Для покупок этих экономились немногие гимназические, а затем студенческие рубли. Как же это началось, зачем? Алексей Алексеевич рассказывает:

«Я полагаю, что коллекции для того и существуют, чтобы служить людям. А книжные собрания в первую очередь. Ведь коллекционер в каком-то смысле занимается делом государственным, он собирает то, что должно принадлежать всем. Собирает, чтобы спасти, сберечь, сохранить. Государство не может всего охватить, и вот на помощь ему являются те, кто понимает культурные потребности общества.

А потребность в книге, я полагаю, самая первая у нашей общественности. Общество любителей книги пришло на готовую почву. Нужда в нем давно назрела — в меньшем масштабе такие организации существовали издавна, с первых же послереволюционных лет. Я от общества очень многого жду. Кстати, внутри общества должна решиться и судьба наиболее ценных личных библиотек.

Вот сейчас часто произносят слово «информация». Но информация — это еще не знание. Для того, чтобы обладать знанием, надо переработать информацию, включить ее в свой духовный мир. Для этого и надо иметь под рукой книги, прежде всего связанные с вашим делом, с профессией. Любое расширение ваших интересов вызывает новый прилив книг, они наращиваются, как геологические слои. Срез библиотеки очень много может рассказать о жизни ее владельца, о времени, дать некую карту эпохи.

В юности я был членом социалистического кружка, где мне довелось увидеть Маяковского, Эренбурга. Марксистскую, социалистическую литературу в казенных библиотеках получить было тогда невозможно. Я стал разыскивать, подбирать ее. Тогда же я стал собирать книги по истории Великой французской революции. Издания эти, иногда подпольные, закрепили, сохранили для меня ту юношескую, «кружковую» часть жизни.

Те книги, что вы видите на полках в моих комнатах,— это в основном рабочая библиотека. Большая часть моих книг уже переселилась на новые полки. Подарил я и всю коллекцию графики. Восемьсот рисунков западных мастеров передал в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Хронологически начинается это собрание с оригинального рисунка Дюрера, кстати, единственного в Москве. Поступив в фонды музея, коллекция эта была выставлена, ее повидали тысячи людей.

В Третьяковскую галерею ушло около четырех тысяч рисунков русских художников. Для меня главным принципом подбора этих рисунков была историчность; я хотел представить все значительные имена русского искусства. Хронология этой коллекции очень обширна, от иконных прорисей до наших дней. Только один крупный мастер не был представлен в моем собрании — Александр Иванов. Все его работы сразу попали в очень узкий круг собирателей.

Сто гравюр советских мастеров я подарил Дрезденскому кабинету гравюр. Коллекцию книжных знаков — четырнадцать тысяч штук — передал Ленинской библиотеке, туда же ушли и книги по этой проблеме.

А вот это (тут Алексей Алексеевич обвел рукой высокие, до потолка полки с книгами по истории искусства) перейдет в Институт истории искусства, где я проработал двадцать пять лет. Отсылаю я книги в Мордовию, в дом инвалидов, веду переписку по «делам книжным» со славистами Оксфордского университета в Англии, а также в Болгарии, в ГДР.

И вообще мой принцип таков: книга должна быть там, где она всего нужнее».

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

Анатолий АЛЕКСИН. Третий в пятом ряду. Повесть 4

Раиса ГРИГОРЬЕВА. Последние переселенцы. Повесть 18

Николай ЛЕОНОВ. Явка с повинной. Повесть 50

ПОЭЗИЯ

Михаил КВЛИВИДЗЕ. Кутаиси. «Слетают с губ и падают в могиле...». «...Но память так к тебе пристрастна...». Сколько разных забот на меня навалилось!..». «Каждый раз, когда мне услышать случится...». Перевел с грузинского Е. Храмов 2

Марк ВЕЙЦМАН. «Я вернулся. Пели те же птицы...». Человеческой жизни суть. Законы доброты. «Глухонемые разговаривают знаками...». «Мои стихи найдя в журнале...». Ночные купальщики 3

Александр МОСКВИТИН. «На окраинах Москвы...». «И встал над чадом быта человек». «Вновь в своем бытие городском...». «Дни напролет не смолкают веселые звуки...» . . 16

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ. Наводнение. Рождение музыки 17

Лев КОСЬКОВ. «Все гораздо проще стало...» 17

Валентин СОРОКИН. «Сквозь стылый шум деревьев и полей...». Туркменская речь. «Зеленая недвижна глубина...». «В предчувствии беды иль непогоды...». «Снова дали кружатся и меркнут...». Парус 48

Анатолий КРАВЧЕНКО. «Смолистые доски сойдут с верстака...». «Наверху поезда грохотали...» 49

Виктор КОРОТАЕВ. Природа. «Луна замерла над рекой...». «Роса лежит на озими...» 85

Лев ОШАНИН. «Назым Хикмет». «Взгляну в глаза твои русалочьи...» 85

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

Технический редактор
Л. К. Зябкина.

— Правильио сделала, что его отшила! — говорила потом Тане опытная женщина старший инженер Вера Степановна.— На улице ии с кем знакомиться иельзя. Там кого угодно встретить можно. От проходимца до доктора наук. Академики по улицам пешком ие ходят. К тому же теперь проходимец может свободно выдать себя за кандидата наук. Ты мне поверь. Это точно. Одно не пойму — то ли проходимцы выросли, то ли деградировали кандидаты иаук. Но не об этом сейчас речь. По-моему, лучше всего знакомиться в коллективе. Если что не так, то товарищи тебя поправят, примут надлежащие меры.

— Пожалуй, Вера Степановна права,— подумала Таня, когда в кузиечном цехе появился иовый смеиный инжеиер Володя. Что-то около тридцати. Не очень красивый, но спокойный и скромный. Он прямо смотрел в глаза, и это сразу поиравилось Тане. Вскоре между ними пролегла иекая иить, которая обычио связывает двух влюбленных. Нить была иевидимой. Так казалось им обоим. Но от коллектива иичего не скрыть, и когда в обед в столовой Тания и Володя вроде бы случайно садились вместе, за каждым их движеиием следили десятки глаз.

— Давай жми, Володька! — выходя из столовой, по-дружески стукиул инженера по плечу Кузьмичев.

— Ну что же, товарищи! Скоро свадьбу сыграем! Первую в КБ. Только сначала станок сдадим. А, Таия?

Таня покраснела и иичего ие ответила. Теперь в столовой оиа и Володя стали садиться за разные столики. Лишь одиажды совершеиио случайно вместе вышли из проходиой, и он проводил Таию до остановки троллейбуса.

— Ну, как баба? — спросил иа следующий день у Володи Кузьмичев.— Я тебе говорил, что ие промахнешься!

А Таню утром по дороге иа завод догиала Алла и, запыхаясь, забросала вопросами:

— Ну как ои, как мужик? Хотя бы английский зиает? Может, его иа стажировку пошлют? Хотя бы в ГДР. Он тебе иасчет этого иичего ие говорил?

А в самом коице рабочего дня, когда уже все устали и ждали пяти вечера, к Таие подошла Вера Степаиовна.

— Ты, Танюша, ничего ие бойся! — сказала оиа.— Мы с тобой. Если что, мы его в момент на место поставим. Сейчас другие времена. Сейчас прииадлежиость ребенка к отцу можно определить по составу крови! Вот так! В обиду тебя не дадим! Если что, завком подключим и другие организации!

— Что вы? — растеряино сказала Таня.— Мы еще ни разу даже в кино ие ходили!

Роиам и еле заметно кивнул ей. А Таня, смутившись, уткнулась в какую-то книгу, строчки ползли перед ее глазами, но она делала вид, что читает, пока Володя ие вышел из библиотеки.

Через месяц ои уехал на годичиую стажировку в Липецк.

— Ты абсолютно ничего не потеряла,— сказала Алла.— Дальше Липецка он не потянет!

— Если иужно, мы его и там достанем! — заметила Вера Степановиа.— Ты только просигнализируй!

Вскоре разговоры прекратились, а когда через полгода стало известно, что Володя жеиился в Липецке на местной девушке, то иикто с Таией об этом даже ие заговорил. Не до того было. Сдавался проект. Таня еле-еле находила в себе силы для работы. Казалось, что из жизни ушло самое главное. Ушло и больше ие вернется. Таню с жизнью теперь связывал только проект. Сдали его успешно. А потом был Новый год. Иваи Семенович произнес торжествеиную речь, чеканя слова, улыбаясь. Все ему аплодировали. И Таия тоже. Потом зачитали приказ о премиях. Стали усаживаться за столы. К Тане подошел Кузьмичев и по-отечески обиял за плечи:

— Всем ты удалась, Татьяна. И внешиостью. И фигурой. И характером. Почему тебя никто не берет?